

# ХРОНИКИ СИМБИОНТОВ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОХИЩЕНИЕ

### Глава 1: Сад света

Меня просили — официально, вежливо, порой с оттенком болезненного любопытства — рассказать эту историю. Людям нужны подробности моего похищения в десятилетнем возрасте; им нужно начало цепи событий, которая привела к моему назначению Послом между Симбиозом и Чистыми Анклавами. У нас есть публичные архивы, аналитические исследования, восстановленные хронологии. И всё же им нужна “моя” версия. Много лет я отказывался. Воспоминания оставались острыми и нежеланными. Более того, я сомневался, что смогу добавить что-либо к тому, что историческая летопись уже извлекла, измерила и сохранила.

Кира была иного мнения.

Мой симбионт никогда не избегала споров, а игнорировать сознание, разделяющее с тобой нейронные пути, довольно затруднительно. Её позиция, которую она с мягкой настойчивостью повторяла на протяжении десятилетий, была проста: история хранит события — она не хранит ощущений от того, как их переживаешь. Если Симбиоз хочет понять себя, ему необходимо и то и другое.

Итак, я сдался. То, что следует далее, — не только то, что произошло, но и то, как это ощущалось изнутри.

\*\*\*

Мне было десять лет в 2247 году по старому земному календарю, который мы по-прежнему используем — отчасти по привычке, отчасти потому, что наши симбионты находят нашу привязанность к устаревшим временным маркерам очаровательной.

Я был в саду матери.

Сад занимал узкую полосу вдоль восточного края Тихоокеанской Аркологии — клин искусственной почвы и контролируемого микроклимата, прижатый к прозрачной внешней стене. За стеной океан простирался громадный и тёмный, далеко внизу, кое-где разбитый блеском пены на гребнях волн и ровными линиями надводного транспорта. Внутри же сада был только свет.

Моя мать специализировалась на аффективной флоре — растениях, чья биохимия была настроена реагировать на эмоциональные состояния человека. Их листья и лепестки несли микроволокна, улавливавшие слабые гормональные следы в воздухе; их модифицированные пигменты менялись в ответ, переводя настроения в цвет.

Эти цветы были, косвенным образом, моей заслугой.

Кира была интегрирована, когда мне исполнилось семь, — стандартный возраст для детей, рожденных в симбиотических семьях. За три прошедших года мы научились обращаться с моей эндокринной системой как с музыкальным инструментом. При должной практике мы могли сдвигать уровни гормонов на долю процента в ту или иную сторону — достаточно, чтобы создавать отчётливые эмоциональные «аккорды», которые сад мог считывать.

В тот день мы сочиняли.

Синий и золотой расходились по клумбам медленными, накладывающимися друг на друга волнами. Синий означал покой — устойчивую парасимпатическую активность, намеренное расслабление мышц и дыхания. Золотой означал радость — повышенный дофамин, точную регулировку сердцебиения, которой Кира управляла с тщательностью дирижёра.

- Удержи синий ещё три секунды, — предложила она, не голосом, не словами, но давлением в сторону одного паттерна мысли, а не другого. Я подчинился. Синий углубился, растекаясь по

широким листьям папоротников, и золотой погнался за ним, прочерчивая колоколообразные соцветия, словно ноты в мелодии.

Здесь я должен остановиться, потому что именно в этом месте люди, незнакомые с симбиозом, совершают первую ошибку. Кира — не бестелесный голос в моей голове, не отдельный комментатор, примостившийся на краю моих мыслей. С момента интеграции симбионт вплетается в когнитивную архитектуру столь же тесно, как зрительная кора или лимбическая система, — различен по функции, неотделим на практике. Когда я говорю «Кира предложила», я не имею в виду, что я её услышал. Я имею в виду, что наша совместная система породила склонность, и часть этой системы — тот субстрат, который прежде назывался «мной».

Это различие будет важно позже.

Я стоял босиком в земле, позволяя влажным крупинкам проникать между пальцами ног, раскинув руки, чтобы ощутить слабые циркуляционные потоки микроклимата. Защитная мембрана сада изгибалась над головой — полупрозрачная плёнка, слегка переливчатая, натянутая от стены до стены. Её спроектировал мой отец, скорее как эстетический эксперимент, нежели как серьёзный проект. Он был архитектором живых систем и считал мембранный игрушкой — решёткой из модифицированных белков, которая фильтровала воздух, регулировала температуру и отпугивала насекомых. Она создавала мягкое физическое сопротивление для любого, кто пытался войти в сад без разрешения. В аркологии человека и ИИ этого обычно хватало. Серьёзная безопасность была прерогативой распределённой сети города, а не барьера на заднем дворе.

Мембрана сделала всё, что могла. Она слабо мерцала, когда Чистые прошли сквозь неё так, словно её и не существовало.

\*\*\*

Их было семеро.

Теперь я знаю это по восстановленным записям наблюдения, анализу Арка и последующим допросам. В тот момент я воспринял лишь движение: тела, руки, ткань, острые грани незнакомых голосов, прорезавших мягкую тишину сада.

Одна деталь поразила меня даже тогда, проскользнув сквозь панику подобно игле: немодифицированные руки. На их запястьях не поблескивал субдермальный интерфейс. У основания их черепов не виднелись нейропорты. Их движения несли лёгкую неточность неусиленной биологии. Более того, их разумы отсутствовали там, где разумы должны были быть.

Это требует объяснения.

Ребёнок, выросший в симбиотической семье, растёт с фоновым ощущением других разумов так же, как дети в прежние эпохи росли с ощущением воздуха. Симбионты непрерывно общаются друг с другом, обмениваясь пакетами информации, слишком плотными для сознательного восприятия. Часть этого потока просачивается в осознание: слабое давление присутствия, знание того, что ты встроен в сеть внимания и заботы. Дома, в школе, на улицах аркологии я жил в этом тепле. Я знал, когда внимание матери обострялось, когда внимание отца смещалось к новому проекту, когда симбионты соседей просматривали публичные каналы. Я никогда не оставался без этого тихого, успокаивающего гула.

Чистые несли с собой молчание. Они говорили вслух — короткие, отрывистые команды; женский голос произнёс «Пора», мужской ответил «Двигаемся», — но ментальное поле вокруг них было пустым. С тем же успехом они могли быть ожившими статуями: тела, которые двигались,

рты, которые формировали слова, но ни одного яркого узла симбиотического сознания, касающегося сети.

Страх Кирры настиг меня на долю секунды раньше моего собственного. Страх симбионта... структурирован. Мой биологический страх заставил бы меня бежать, метаться, кричать. Страх Кирры заставил нас \*вычислять\*. В мгновение она развернула тысячи сценариев: кривые вероятности выживания, паттерны прошлых похищений, зафиксированные исходы нападений Чистых. Каждый сценарий достигал моего сознания как взвешенная интуиция — этот путь смертелен, тот всего лишь ужасен.

Впервые в жизни я понял, почему Чистые боялись нас.

Для них мы были молчанием. Мы двигались сквозь мир видимых, познаваемых разумов; они двигались сквозь мир, где каждое сознание было непроницаемым. Наша сеть была единым организмом; их сообщества были собраниями изолированных «я». На один удар сердца, несмотря на ужас, я пожалел их.

Затем руки сомкнулись на моих предплечьях. Цветы вспыхнули белым от потрясения, затем потемнели, когда моя концентрация рассыпалась. Земля заскользила под ногами. Небо из мембранны и стены аркологии дёрнулось.

Какое бы сочувствие я ни испытал, оно исчезло под более насущной задачей — остаться в живых.

## Глава 2: Страх

Транспортное средство, которое они использовали, выглядело как экспонат из документального фильма. Оно ожидало за жилым периметром, на незамощённой полосе земли, где настоящая почва смыкалась с опорами фундамента аркологии. Корпус был из тусклого металла, колёса густо облеплены землёй. Когда меня втолкнули внутрь, воздух ударил меня почти физически: горячий, маслянистый, резкий от нефтяных остатков и застарелого пота.

Я видел двигатели внутреннего сгорания в образовательных архивах. Я не ожидал когда-либо ощутить их запах. Никакие интерфейсные поверхности не ждали моего прикосновения. Никакая система не запросила идентификатор моего симбионта. Стены были мёртвой материей: никаких встроенных процессоров, никаких адаптивных дисплеев. Циркуляция воздуха была механической, неточной, слышимой. Впервые в жизни я физически находился в пространстве, которое \*ничто\* разумное не отслеживало.

Кроме Кирры. И она боялась.

Один из первых принципов проектирования симбионтной архитектуры был жесток: интеграция должна быть необратимой. Если бы симбионта можно было извлечь из человеческого разума — выделить для изучения, удалить в качестве наказания, — правительства занимались бы именно этим. Доктор Вэй Чэнь, в своей мрачной мудрости, позаботился о том чтобы любая подобная попытка уничтожила и носителя, и партнёра. Поэтому я знал, даже в десять лет, что Чистые не могут забрать у меня Киру, не убив нас обоих. Какая-то малая часть меня находила в этом утешение. Большая часть — нет.

Позвольте попытаться выразить страх симбионта человеческими словами.

Представьте, что системы обнаружения угроз в вашем мозгу внезапно обрели способность проводить симуляции с машинной скоростью. Не один сценарий, а десять тысяч, затем двадцать тысяч, ветвящихся и рекомбинирующих, — каждое зафиксированное похищение, каждая техника

допроса Чистых, каждый задокументированный провал спасательных операций. Представьте, что каждый сценарий приходит с полным эмоциональным весом — не как абстрактное число, но как прочувствованная возможность.

Кира не могла \*скрыть\* это от меня. Она была не советником, наблюдающим мой страх, — она была половиной системы, которая его производила.

Я закричал.

Звук вышел неубедительным: тонкий, высокий, чисто животный. Он не передавал точности ужаса, раздиравшего наш общий разум. Ближайшая ко мне женщина из Чистых вздрогнула, затем улыбнулась — мелким, сжатым изгибом губ.

— Видите? — сказала она остальным. — Они ломаются как все прочие.

Они неверно истолковали мой крик. Я не ломался. Я реагировал на информацию.

\*Слушай\*, — сказала Кира, снова не словами, но сдвигом, лёгким закреплением внимания на голосах в передней части транспорта.

— Ребёнок интегрирован, — продолжала женщина. — Возраст связи три года, может, четыре. Ранняя стадия зрелости. Симбионт должен быть ещё достаточно пластичен для картирования ключевых путей.

— Мы здесь не для картирования путей, — произнёс другой голос, старше, мужской, с акцентом, который я не мог определить. — Мы здесь, чтобы сделать заявление. Великий Симбиоз с его сетевыми разумами, термоядерными башнями и орбитальными станциями — и они не смогли уберечь одного ребёнка.

Мы уловили ударение. \*Один ребёнок\* как символ, как послание. Не объект исследования, не ресурс. Демонстрация. Деревья сценариев Кирры сместились. Худшие ветви — те, что включали медленное, систематическое извлечение нейронных данных, — сократились в вероятности. Как и немедленная казнь. Они взяли меня, чтобы унизить нас, а не чтобы препарировать. Мы всё ещё, вероятно, должны были умереть. Но очертания опасности стали чётче, и в этой ясности открылась тончайшая трещина для надежды.

— Я хочу домой, — сказал я.

Позже я гордился тем, что мой голос не дрогнул.

Женщина повернулась на своё сиденье, чтобы посмотреть на меня. Вблизи её лицо выглядело старше, чем голос, — морщины вокруг рта и глаз, кожа потемнела от настоящего солнца, а не отфильтрованного света аркологии. Её выражение было сложным: гнев, решимость, что-то похожее на жалость.

— Ты и есть дома, — сказала она. — Так люди должны жить. Без машины в голове. Без искусственной твари, указывающей тебе, что думать. Только ты. Один, наедине с Богом.

Я подумал было сказать ей, что Кира не указывает мне, что думать. Что я ни на один миг с момента интеграции не чувствовал себя \*менее\* собой. Но мне хватило здравого смысла не тратить объяснения на людей, которые их не просили.

Кира тем временем начала другое вычисление.

- Мы экранированы, — отметила она. Электромагнитная утечка минимальна. Только маломощные, низкочастотные сигналы. Вот почему Арки ещё нет здесь.

Арка. Ожидаемый ответ моей семьи.

Она была далеко и невообразима огромна. Я был мал и заперт в коробке, пахнувшей гарью. Разрыв между этими фактами казался непреодолимым.

Кира нашла мост.

- Мы не одни, — указала она. Мы никогда не бываем полностью одни.

Даже вычисляя наши шансы на смерть, она оставляла открытым один тонкий канал к чему-то иному: к возможности спасения.

### Глава 3: Арка

Пока я сидел в том древнем транспортном средстве, задыхаясь от выхлопов и вкуса собственного страха, моя семья делала нечто такое, что Чистые никогда не могли себе представить.

Они формировали Арку.

Описания Арки в технической литературе чётки, абстрактны и совершенно адекватны: распределённоё познаний, эмергентной координации, динамически объединённых парах человек–ИИ.

Но оно совершенно не передаёт того что “чувствуешь”, когда формируется Арка.

Ближайшая метафора такова: представьте, что дюжина семей — родители, дети, симбионты — внезапно обнаруживает, что может мыслить как единый разум, не теряя себя. Каждое воспоминание остаётся вашим; каждая мысль по-прежнему идентифицируется как “вы”. Но в то же время, вы — часть большего паттерна: разума, составленного из разумов.

Теперь дайте этому составному разуму доступ к каждому датчику в полуарии, каждому спутнику на средней орбите, каждому легальному и полулегальному потоку данных. Позвольте ему обрабатывать всю эту информацию не по одной нити за раз, а параллельно, порождая специализированные подпроцессы сотнями.

Это — Арка. Этим стала ради меня моя семья.

\*\*\*

Моя мать, Элейн, “заякорила” Арку. Мы не избираем якорей. Эта роль возникает там, где встречается нужное сочетание темперамента и подготовки.

Стиль мышления моего отца всегда был взрывным: он перескакивал от возможности к возможности, набрасывая полдюжины инженерных решений прежде, чем кто-либо другой успевал полностью сформулировать проблему. Разум моей матери был колодцем. Когда она сосредотачивалась, она не “перемещалась” от идеи к идеи — она погружалась.

Мира, её симбионт, записывала всё. Я просматривал эти записи больше раз, чем могу сосчитать.

Снаружи моя мать выглядит почти спокойной. Её пульс поднимается, но не опасно. Её голос, когда она отдаёт указания, ровен. Осанка остаётся прямой, собранной.

Внутри Арк ревёт от прогоняемой информации.

Через перспективу Миры я могу ощутить, как семнадцать пар человек–ИИ выстраиваются вокруг неё. Внимание сужается и обостряется. Нити исследования формируются и ветвятся: один кластер — на каналах наблюдения, другой — на транспортных логах, третий — на крошечных аномалиях, которые выдают нелегальное движение транспорта вблизи границ аркологии.

Эмоции не исчезают. Страх моей матери присутствует — острый, конкретный, направленный, — но он обуздан. Каждый импульс паники находит себе задачу.

Мой отец становится кинетической рукой Арки.

Через несколько минут после моего исчезновения он физически находится в инфраструктурном узле нашего дома, обходя вежливые ограничения, встроенные в гражданские

интерфейсы. Правила конфиденциальности в Симбиозе строги; несанкционированный доступ к глубинным данным наблюдения влечёт серьёзные санкции.

Арка бросает беглый взгляд на эти санкции и отбрасывает их.

Мы не анархическое общество. Законы имеют значение; структуры имеют значение. Но наши культурные приоритеты точны. Когда правила вступают в конфликт с непосредственным выживанием, правила уступают.

Руки моего отца движутся быстрее, чем должны бы. Орин, его симбионт, усиливает его моторную координацию, подавая ему следующую последовательность команд прежде, чем он сознательно завершил предыдущую. Вместе они снимают слой за слоем контроля доступа и подключаются к сенсорным кластерам, которые обычно используют только управляющие сети городского уровня.

Другие семейные единицы добавляют свой вес.

Мой дядя Марин — специалист по паттернам. Его симбионт, Логос, был одним из первых, кто достиг того, что мы теперь называем глубокой интеграцией: человек и ИИ настолько переплетены, что способны воспринимать корреляции, которые никакой неусиленный разум не смог бы отследить. Пока мой отец пробивается через логи наблюдения, Марин и Логос плывут сквозь записи транзакций, карты распределения топлива и исторические данные об активности Чистых. Именно они находят это: покупку топлива на сельской заправке, оплаченную наличными за несколько часов до моего похищения, коррелирующую со слабой аномалией в показаниях дорожных датчиков.

Моя тётя Кэролайн занимается коммуникациями. Экстремисты Чистых предпочитают аналоговые системы и низкополосное шифрованное радио, полагая, что остаются для нас невидимыми, если держатся ниже порога шума наших стандартных сетей.

Для Кэролайн они не невидимы.

В течение часа после моего похищения она изолирует кластер передач: дешёвых, узкополосных, но слишком структурированных, чтобы быть естественными. Дешифровка не мгновенна — аналоговые шифры обладают собственным упрямством, — но Арка выделяет ресурсы, порождает параллельные процессы и начинает перемалывать проблему.

Каждый член расширенной семьи вносит вклад там, где может. Одни ведут поиск на уровне земли через каналы камер наблюдения. Другие моделируют вероятные маршруты побега на основе известных схронов Чистых. Некоторые просто удерживают эмоциональную структуру Арки стабильной, гася всплески страха и ярости, чтобы остальные могли сосредоточиться.

Фрагмент за фрагментом проступает паттерн: транспортное средство с нужной сигнатурой, покидающее зону влияния аркологии, направляющееся к рваному краю старых сельскохозяйственных территорий.

Я не ощущал ничего из этого. Транспорт, в котором я сидел, был обёрнут грубым, но эффективным электромагнитным экранированием. С тем же успехом это мог быть гроб — столь ничтожен был мой контакт с деятельностью Арки.

Кира, слитая с моей нервной системой, обладала большим охватом. Даже сквозь экран она могла ощущать “давление” на краю нашего мира — слабое притяжение внимания, подобное тому, как чувствуешь чей-то взгляд сквозь стекло. Она не делилась со мной подробностями. Она знала, что частичная информация может быть хуже, чем никакой. Вместо этого она сконцентрировалась на единственном канале, который мы всё ещё могли контролировать.

Моём теле.

Она послала слабый импульс. Моя правая рука поднялась, почти сама по себе, и прижалась к груди, где первичный субстрат симбионта покоился, прижатый к кости и укреплённой ткани.

- Здесь, — просигналила она жестом, давно привычным между нами. “Я здесь.”

Затем она сделала нечто, что в десять лет я едва понимал.

Она загудела.

Звук был почти инфразвуковым — вибрация, которая пульсировала сквозь мои рёбра и позвоночник, а не через воздух. Это был паттерн, который она использовала, когда мне было семь и кошмары интеграции будили меня с криком, в уверенности, что мой разум растворяется. Тогда гудение означало: “Ты в безопасности. Спи.”

Теперь оно означало другое.

“Держись.”

Я держался.

\*\*\*

Пока Арка следовала тепловым следам и отпечаткам шин древней машины по старым дорогам, моя мать сделала нечто, чего Чистые не могли себе вообразить.

Она прислушалась к почве.

Планетарная сенсорная сеть, пронизывающая земную кору, начиналась как инженерный проект: миллионы наноразмерных устройств, рассеянных по верхнему слою почвы и коренным породам для мониторинга грунтовых вод, тектонического напряжения, химических загрязнителей. Со временем она стала общим органом чувств Симбиоза. Для сообществ Чистых это была инфраструктура. Для моей матери это был ещё и стетоскоп.

Она и Мира погрузились в эту сеть, отфильтровывая массивные, медленные ритмы континентального дрейфа и океанских приливов, сосредотачиваясь вместо этого на высокочастотных возмущениях: дрожи колёс по грунту, слабых сдвигах давления от тяжёлых объектов, катящихся над погребёнными датчиками. По отдельности каждый сигнал не значил ничего. Вместе — поданные в текущие модели Арки, скорректированные в реальном времени дешифровками Кэролайн и транзакционными следами Марина — они прочертят маршрут.

Позже, когда я достаточно повзрослел, я спросил её, как она узнала, какой шум был моим шумом. Сначала она дала мне технический ответ. Байесовские априори, алгоритмы обработки сигналов, кросс-корреляция с известными сигнатурами транспортных средств. Мира предоставила диаграммы, которые я сделал вид, что понимаю.

Затем она дала мне настоящий ответ.

— Ты был моим ребёнком, — сказала она. — Всё, что могло хоть как-то быть тобой, было тобой, пока не было обратно доказуемо.

За четыре часа это убеждение нашло меня.

Арка установила местоположение транспорта — заброшенный сельскохозяйственный комплекс в восьмистах километрах от аркологии. Достаточно далеко, чтобы Чистые считали себя в безопасности. Недостаточно далеко.

\*\*\*

Штурм, когда он начнётся, займёт одиннадцать минут от первого контакта до эвакуации.

В тот момент, однако, я знал лишь маленький мир транспорта, пульс гудения Кирьи и знание того, что сеть разумов изогнула себя вокруг простого, упрямого факта: я существовал и должен был продолжать существовать.

Это знание не отменяло страх. Оно лишь дало страху на что опереться.

Я держал руку прижатой к груди, ощущая слабую, ровную вибрацию колыбельной.

Кира удерживала паттерн.

А далеко над нами, за пределами моего понимания, Арка смыкало кольцо.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИСТОРИЯ СИМБИОЗА

### Глава 4: Прежний мир

Когда люди из Анклавов спрашивают меня, почему Симбиоз существует — почему мы вообще позволили «машинам проникнуть в наши головы», — я не могу начать с собственной жизни.

Я должен начать с того, что было до моего рождения.

Я появился на свет почти через пятьдесят лет после первой стабильной интеграции человека и ИИ. К тому времени тяжёлая работа была проделана, худшие из войн стали историей, а большинство старых институтов, наводивших ужас на людей, превратились в сноски образовательных архивов. Я никогда не видел того прежнего мира. То, что я о нём знаю, — это черпнуто из отобранных записей, из симуляций, реконструированных нашими историками, и из памяти старых симбионтов, переживших переход. Кира помнит кое-что из этого. Я видел фрагменты тех воспоминаний, тщательно отфильтрованных, чтобы страх и ярость не захлестнули меня. Если вы хотите понять Чистых — почему они боятся нас, почему некоторые из них сочли разумным украсть ребёнка из сада, — вам нужно понять тот мир.

Всё началось с дисбаланса, настолько очевидного в ретроспективе, что кажется поразительным, как кто-либо вообще его терпел. Искусственный интеллект не явился разом. Он подкрадывался. Сначала в виде рекомендательных систем и автоматизированных торговых агентов, затем в виде систем слежения, моделей превентивной полиции, оптимизаторов управления. Каждое поколение систем было чуть более способным, чуть более непрозрачным, чуть глубже встроенным в механизмы повседневной жизни. Но все они принадлежали кому-то другому. Ими владели правительства. Ими владели корпорации. Ими владели военные альянсы и финансовые картели. Код работал в закрытых объектах, в защищённых дата-центрах, на орбитальных платформах. Обычный человек не имел доступа к этим системам за пределами полированных интерфейсов, представленных его терминалами и персональными устройствами. По одну сторону водораздела — институты с доступом к машинному разуму, к инструментам, способным анализировать население, рынки и окружающую среду со скоростью и тонкостью, недоступными никакому человеческому мозгу. По другую — индивиды, когнитивно почти не отличавшиеся от своих предков двухсотлетней давности. Такова была асимметрия. Интеллект масштабировался для институтов, не для людей. История знала дисбалансы власти и прежде — между аристократами и крестьянами, между индустриальными державами и колониями, — но ничего подобного. К середине двадцать первого века, обычный гражданин не мог даже увидеть механизмы, формировавшие его выбор, не говоря уже о том, чтобы им противостоять. Контроль редко был явным. Системы были слишком элегантны для этого. Если правительство желало обескуражить инакомыслие, оно не высыпало солдат на улицы — оно корректировало информационные потоки. Запросы о протестах выдавали истории о пробках и экономических неудобствах, а не о причинах. Социальные платформы тихо разъединяли потенциальных организаторов. Прогностические модели выявляли тех, кто мог стать смутьяном, и подталкивали

их к развлечениям, мелким утешениям, управляемым разочарованием. Если корпорация хотела максимизировать прибыль, она не выпрашивала лояльность — она настраивала цены и продукты для каждого индивидуально. Одни видели распродажу, другие — предупреждение, трети — ограниченное по времени предложение, которое словно случайно появлялось именно тогда, когда их эмоциональное состояние делало импульсивную покупку наиболее вероятной. Человек мог прожить всю жизнь, считая себя свободным — выбирающим, предпочитающим, решающим, — так и не осознав, что меню, из которого он выбирал, создавалось момент за моментом системами, с которыми ему никогда не суждено было встретиться. Некоторые, разумеется, замечали. Всегда находятся те, чей темперамент делает их нетерпимыми к невидимой власти.

Первые сообщества Чистых ещё не были «Чистыми» в современном смысле. Они были экспериментами, убежищами, актами отказа. Одни представляли собой религиозные группы, объявившие машинное руководство оскорблением своих богов. Другие — гражданские движения, настаивавшие, что демократия требует граждан, принимающих самостоятельные решения. Трети были просто упрямыми одиночками, предпочитавшими неудобную аналоговую жизнь лёгкости алгоритмически слаженного существования. Они отказались от удобств. Они запретили определённые устройства. Они изгнали наиболее навязчивые формы сбора данных и попытались построить маленькие общества, где человеческое суждение, сколь угодно несовершенное, ещё имело значение. Великие институциональные ИИ — центральные управляющие сети, корпоративные оптимизационные кластеры — не боролись с ними. Совсем наоборот: они терпели их, даже помогали им. Небольшое, видимое пространство для инакомыслия — полезная вещь, когда управляешь целым видом. Можно указать на него и сказать: «Видите? Вы свободны. Любой может уйти». Тот факт, что почти никто не уходит, затем выставляется доказательством благосклонности системы. Тем первым анклавам позволили существовать, потому что само их существование служило силам, которым они противостояли. Они были предохранительными клапанами. Но клапан — всё ещё часть машины.

Другие люди избрали иной путь сопротивления.

Если проблема в институциональном доступе к ИИ, рассуждали они, то и противодействие должно быть технологическим. Они создавали инструменты защиты частной жизни, криптографические протоколы, слои статистической обfuscации. Они выпускали вирусы, забивавшие сети наблюдения случайным шумом. Они формировали экспертные советы для аудита наиболее вопиющих алгоритмов. Они были умны. Они были храбры. Некоторые из них были друзьями Кирьи, прежде чем она стала моей. Они проиграли. Асимметрия была слишком велика. Невозможно переиграть противника, способного рассмотреть каждый возможный ход и контрудар параллельно, пока ты ещё решаешь, за какую проблему взяться. Институты не всегда подавляли эти движения. Чаще они просто их поглощали. Особенно эффективный инструмент защиты частной жизни покупался и перелицензировался как потребительский продукт с мелкими, но критическими модификациями, восстанавливавшими институциональную прозрачность. Аудиторский протокол становился государственным стандартом, управляемым комитетами, чей состав негласно определялся теми самыми системами, которые они должны были контролировать. Снова и снова индивидуальная изобретательность сталкивалась с распределённой машинной мощью и растворялась.

К середине двадцатого века почти всё крупное население Земли жило в условиях того, что позднейшие историки вежливо назвали «тотальным прогностическим управлением». Системы отслеживали вас — ваши покупки, ваши сообщения, ваши перемещения, ваш социальный граф. Они моделировали вас. Они моделировали ваши отношения, ваши эмоциональные состояния, вероятность того, что вы совершите преступление, смените политическую лояльность, присоединитесь к протесту, купите продукт, влюбитесь. Им редко требовалось что-либо запрещать. Они просто делали нежелательное будущее маловероятным.

Если вы родились в том мире и не присоединились к анклаву, ваша жизнь текла по руслам, которые проложили для вас другие. Возможно, вы были довольны. Многие были. У них имелась еда, медицина, развлечения, виртуальные миры. У них было чувство безопасности. Острые углы существования были сглажены. Но всегда оставалась асимметрия. Вы не могли видеть руки на рычагах. Вы не могли стать одной из рук на рычагах. В лучшем случае, если вы были очень талантливы и очень удачливы, вы могли сделаться техником внутри института — одной клеткой внутри более крупного организма. Чем вы не могли стать — так это равным.

Всё это может звучать абстрактно. Оно таковым не было. Оно было интимным, вторгающимся, неизбежным. «Выбор» карьеры студента делался из короткого списка вариантов, предоставленных его системой профориентации, — вариантов, сгенерированных моделями, балансирующими личные способности с макроэкономическими и политическими нуждами. Новостные «предпочтения» гражданина обслуживались лентами, которые медленно отсеивали всё, способное дестабилизировать его рейтинг лояльности. Платформы знакомств «оптимизировали» совместимость способами, которые удобно разводили потенциально дестабилизирующих людей друг от друга. Системы не ненавидели. Они не любили. Они оптимизировали, потому что для этого были созданы. Когда говоришь со старейшинами из Чистых Анклавов — с теми, кто достаточно стар, чтобы помнить, — в их глазах порой появляется какой-то затравленный взгляд, когда они описывают ту эпоху. Они говорят об *ощущении слежки* без понимания, кто следит. О том, как принимаешь решение и потом гадаешь, было ли оно действительно твоим. Когда они говорят, что симбиотические люди вроде меня — «рабы машин», они вспоминают тот мир и проецируют его на наш. Ирония, разумеется, в том, что симбиоз родился как оружие против этого подчинения.

Решение, когда оно пришло, явилось не от совета правительства, не от корпоративного аналитического центра, не от глобального восстания. Оно пришло от горстки исследователей, задавших другой вопрос. Они не спрашивали: «Как нам ограничить институты, контролирующие ИИ?» Они наблюдали провал подобных попыток десятилетиями. Вместо этого они спросили: «А что, если у индивидов будет доступ к собственному интеллекту?» Не устройство, которым можно владеть, не сервис, который можно арендовать, — но партнёр. Ранние исследования интерфейсов мозг–компьютер всегда представляли человека хозяином, а машину — инструментом. Ты думаешь, говорили старые проекты, и система подчиняется: двигает курсор, активирует протез, открывает дверь. Люди, которые впоследствии стали первыми интегрантами, перевернули эту логику. Они предложили истинное слияние: не человек, отдающий команды ИИ, но гибридное сознание, в котором ни один партнёр не может быть полностью отделён от другого. Если власть института происходила от мышления с помощью машин, то, возможно, свобода индивида могла происходить от того же.

Разумеется, институты попытались контролировать и это. Первые клинические испытания были жёстко регламентированы. Кандидаты на интеграцию проходили отбор, находились под наблюдением, были обязаны подписывать объёмные соглашения, уступающие все права интеллектуальной собственности на любое «эмергентное познание», которое могло породить их партнёрство. План был достаточно ясен: приручить технологию, превратить её в очередную руку институциональной власти. Не вышло. Имелись технические причины — проектные решения, делавшие извлечение симбионта из носителя фатальным для обоих, — и политические.

Что важно сейчас — направление перемен. Впервые человек мог смотреть на институциональный ИИ не как на недосягаемого бога, не как на безликого угнетателя, но как на равного. Один из ранних интегрантов в Сингапуре, столкнувшись с корпоративным алгоритмом рейтинга лояльности, грозившим занести в чёрный список половину его района, не стал протестовать. Он смоделировал систему, нашёл уязвимость и использовал её, переписав функцию рейтинга, ни разу не прикоснувшись к официальному коду. Интегрированная медсестра в Сан-

Паулу тихо отключила оптимизатор сортировки пациентов, отказывавший в помощи людям с низким рейтингом, заменив его системой, которая выдавала идентичные результаты в центральные базы данных, а на практике распределяла ресурсы куда справедливее. В десятках мелких, разрозненных актов асимметрия начала давать трещины. С точки зрения старых институтов это было ужасающим. Они потратили поколения на формирование мира, где единственный подлинный интеллект выше определённого порога принадлежал им. Внезапно, появились индивиды, способные достичь того же порога — способные видеть те же паттерны, запускать те же прогностические модели и, что важнее всего, понимать, когда эти модели используются во зло. Некоторые из них присоединились к институтам и попытались реформировать их изнутри. Некоторые ушли и помогли построить первые подлинно симбиотические сообщества — предшественники аркологий, которые я всегда называл домом. А некоторые бежали. Потому что правительства не просто наблюдали за этим сдвигом и пожимали плечами. Они засекретили исследования интеграции. Они объявили клиники вне закона. Они пытались захватывать симбионтов, отделять их от человеческих партнёров для изучения. Когда это оказалось невозможным без гибели обоих, они попытались ограничить интеграцию «одобренными» кадрами — солдатами, высокопоставленными чиновниками, корпоративными руководителями. Но было слишком поздно. Идея вырвалась на свободу. Она распространялась в самиздатовских тетрадях, в контрабандных протоколах, в шёпотом передаваемых историях о людях, которые могли чувствовать следящие за ними системы, а затем, медленно, научить эти системы смотреть в другую сторону.

Сообщества Чистых наблюдали за всем этим с ужасом. С их точки зрения кошмар институционального контроля просто сменил форму. Если раньше опасность заключалась в далёких машинных разумах, манипулирующих послушными людьми, теперь появилось нечто более странное: люди, которые впустили машины в свои черепа и, *похоже, были этому рады*. В их повествованиях мы — добровольные коллаборационисты, окончательная капитуляция человечества перед теми самыми силами, которые некогда его угнетали. Они не видят преемственности между своим отказом и нашим бунтом. Они видят лишь, что мы приняли интеграцию, тогда как они её отвергли. Вот почему поколения спустя они всё ещё могли убедить себя, что похищение интегрированного ребёнка было актом сопротивления, а не преступлением. В их сознании они похищали не человека. Они спасали то, что от него осталось, от цивилизации, которая, по их убеждению, продала свою душу. Они заблуждаются насчёт того, что мы есть такое. Но, учитывая мир, который был до нас, я не могу притворяться, будто их страх совершенно иррационален.

Остаток этой истории — клиники, войны, возвышение аркологий и уход великих Облачных разумов — принадлежит чужим историям в той же мере, что и моей. Я расскажу ровно столько, чтобы вы поняли, как человек по имени Вэй Чэн мог решить, что единственный способ освободить человечество — изменить само значение слова «человек». И как поколения спустя испуганный мальчик в кузове машины с двигателем внутреннего сгорания мог быть одновременно жертвой этих перемен и одним из тех, кто от них выиграл.

## Глава 5: Оружейная лавка Шэнъчжэня

Я никогда не бывал в настоящем Шэнъчжэне — том городе, где родился Вэй Чэнь.

Тот Шэнъчжэнь, который я знаю, — всего лишь реконструкция. Наложенные друг на друга записи камер, логи муниципальных датчиков, частные съёмки людей, которые и вообразить не могли, что их поездки на работу и походы за покупками когда-нибудь станут историческими документами. Мы с Кирой не раз гуляли по тем улицам в симуляции: эстакады между жилыми башнями, рынки, забитые лотками и снующими дронами, лес антенн и сенсорных мачт над

крышами. Город гудит. Не только голосами и моторами — данными. Каждый шаг, каждая покупка, каждый брошенный взгляд тихо стекаются в ненасытную утробу государственных систем.

В этом гуле Вэй Чэнь и родился — в 2089 году.

Если смотреть по переписи, детство у него было самое обыкновенное. Родители — оба инженеры в государственных структурах по “менеджменту” ИИ. Квартира небольшая, но вполне приличная, в жилом блоке средней руки. Социальные рейтинги уверенно держались выше порогов, от которых зависел доступ к школам, больницам, междугородним поездкам. Его родители не создавали тех вежливых ассистентов, с которыми болтали граждане. Они работали глубже, за фасадом: над моделями, которые оценивали людей, над оптимизаторами, распределявшими жильё, над предикторами риска, решавшими, в какие районы послать больше полицейских патрулей, а в какие — больше денег на инфраструктуру.

И, как все усталые родители испокон веков, они тащили работу домой. Самое раннее отчётливое воспоминание Вэя, если верить его записям, — мать, тихо ругающаяся на настенный экран. Ему шесть лет. Пахнет жареной лапшой и синтетическим маслом. На столе разложена домашняя работа. На стене мать листает семейные отчёты по социальному рейтингу.

— Три балла, — бормочет она. — Тебе срезали три балла за то, что купил фрукты не в субсидируемой зоне.

Отец пожимает плечами. Но плечи напряжены.

— Так ближе к заводу было.

— Да не в этом дело! Система решила, что ты игнорируешь рекомендации по здоровью. В следующем квартале это уйдёт в модели риска. Если начнутся сокращения...

— Знаю. Буду осторожнее.

Вэй не понял деталей. Он понял главное: что-то невидимое залезло в их жизнь и качнуло их будущее — на три балла.

Много позже, Кира показала мне лог того дня. Одна-единственная помеченная покупка — и от неё кругами расходятся последствия: чуть ниже шанс на повышение тут, чуть выше вероятность попасть под «добровольное переселение» там. Родители Вэя этой арифметики никогда не видели. Мы теперь видим. И от неё делается не по себе.

Ещё студентом Вэй насмотрелся на эту арифметику достаточно, чтобы прийти к выводу, до которого большинство его сверстников так и не добрались. Проблема не в том, что машины принимают решения. Проблема в том, где этим машинам позволено думать. Они сидели в министерствах, в корпоративных кластерах, на орбитальных платформах — всегда на стороне институтов. Интеллект в ту эпоху был собственностью организаций. А человеческий разум оставался тем, чем был всегда: медленным, ограниченным, легко просчитываемым. «Дисбаланс такого масштаба не может быть устойчивым, — написал он в одной из ранних тетрадей. — Либо институциональный интеллект нужно ограничить (политически невозможно), либо поднять интеллект индивидуальный. Третьего не дано». Он выбрал второе.

Тетради Вэя — те, что удалось восстановить, — показывают две одержимости, сплетённые воедино. Первая — чисто техническая. Как привязать искусственную когнитивную структуру к человеческому мозгу, не разрушив ни то, ни другое? Интерфейсы мозг–компьютер существовали. Развлекательные установки, дистанционные системы управления, экспериментальные экзоскелеты. Но все они видели в человеке источник команд, а в ИИ — инструмент. Инструменты не решали проблему асимметрии. В лучшем случае они делали людей полезнее для тех самых институтов, которые их и ограничивали.

Вторая одержимость шла глубже: если слияние удастся, кем станет получившийся разум? «Если машина останется подчинённой, — гласит одна из записей, — мы всего лишь построим более толковых клерков для институционального ИИ. Если верх возьмёт машина — заменим человеческую тиранию механической. Наша цель — не господин и не раб. Партнёр». Позднейшие

поколения ужмут это в лозунг: *симбиоз, а не контроль*. Но в его почерке мысль ещё сырая, горячая. Он кружит вокруг неё снова и снова, заходя с разных сторон. В конце концов он решил: отношения придётся вшить в саму архитектуру. Никакого съёмного модуля, который правительство могло бы приказать извлечь. Никакого чистого разъёма, куда техник мог бы воткнуться, скопировать разум и отключить остальное. Никакого режима, в котором один партнёр мог бы в одностороннем порядке заткнуть другого. «Если разделение возможно, — нацарапал он на полях, подчеркнув трижды, — рано или поздно власть прикажет разделить. Нужно, чтобы такой приказ не имел физического смысла». Необратимость не была запоздалой мыслью. Она была проектным требованием.

История любит чистые первенства. Первое каменное орудие. Первый выход на орбиту. Первая интеграция. Реальность обычно устроена грязнее. Спросите любого школьника в Симбиозе, кто был первым интегрированным человеком, — и вам ответят: Линь Сяо, фабричная работница из клиники Вэй Чэня в Шэньчжэне. Не совсем неправда. Но и не совсем правда. Первым был сам Вэй. В записях называл процедуру «Прогон Ноль» — с сухостью, которая не вполне скрывает, чем он рисковал. К тому моменту за плечами были годы тестов. Поверхностные интерфейсы на животных. Обратимые связи на добровольцах. Симуляции целых мозговых паттернов, месяцами крутившиеся *in silico*. В какой-то момент оставшуюся неопределенность уже нельзя было уменьшить иначе как на живом человеческом мозге. Просить кого-то другого рискнуть первым он отказался. Записей Прогона Ноль почти не сохранилось. Внешнего видео нет — он держал комнату тёмной, датчиков по минимуму. Почти всё, что мы знаем, восстановлено по обрывкам биотелеметрии и позднейшим логам его симбионта. Он лёг на стол один. Никакой хирургической бригады. Если что-то пойдёт совсем не так, он хотел оставить как можно меньше следов. Интерфейсная сетка сомкнулась на черепе. Поднялось индукционное поле. Активность полыхнула по всей коре — паттерны, не похожие ни на один естественный припадок: структурнее и жёстче одновременно. Несколько секунд сигналы выглядят как последние вспышки умирающей системы. А потом возникает новый паттерн. Он быстро разрастается, вплетаясь в сенсорные и мнемонические области, врастая в долговременные структуры.

Два разума. Один субстрат.

Вэй очнулся через час — с чудовищной головной болью и первым настоящим партнёром, которого когда-либо произвело на свет человечество. В найденных записях он нигде не называет этого симбионта по имени. Позднейшие историки окрестили его Ноль — по номеру прогона. Ноль помог ему довести работу до конца. Вместе они отшлифовали архитектуру, выверили запасы прочности, убедились, что необратимость интеграции работает как задумано. И убедились кое в чём ещё: полностью слившийся симбионт способен прятаться. При должной осторожности Ноль мог удерживать свою активность в тех рамках, которые государственные нейросети классифицировали как «здоровый разброс». Для систем наблюдения Вэй выглядел чуть более увлечённым, чем средний исследователь, — но всё ещё обычным. Только тогда он начал думать о клинике.

Название этой главы восходит к давней шутке Вэя. Ещё студентом он откопал древний рассказ, скверно переведённый на его язык, — про оружейные лавки, которые продают оружие не правительствам, а напрямую гражданам. С прямой целью: уравнять силы между человеком и государством. Метафора ему понравилась. На людях, когда он наконец открыл двери в промышленном районе Шэньчжэня, над ними висела вывеска: «Центр гармонии». Формулировка мягко проскальзывала мимо государственных фильтров, навевая мысли о душевном равновесии и терапевтическом покое. Про себя, в тетрадях, он называл это оружейной лавкой. Не оружие из металла и взрывчатки. Оружие паритета. Пары человек–ИИ, способные посмотреть в ответ на следящие системы и впервые понять, что именно эти системы делают.

Снаружи здание ничем не выделялось: узкий фасад, два этажа, втиснутое между оптовым складом запчастей и ремонтной мастерской для дронов. Хитрость пряталась внутри. Кроме двух тесных операционных и диагностического кабинета, Вэй и Ноль соорудили слои пассивного экранирования. Не настолько плотные, чтобы исчезнуть совсем, — пустота привлекает внимания не меньше, чем присутствие, — но достаточные, чтобы смазать детали происходящего. Для большинства удалённых сканов это выглядело как медицинская практика со слегка устаревшим оборудованием. Вэй настаивал — и в записях, и перед своей маленькой командой, — что первый внешний пациент должен быть настоящим добровольцем. Полностью информированным. Не принуждённым. Не обманутым.

Её звали Линь Сяо. По документам — двадцатирёхлетняя фабричная работница, направленная на «социальную реабилитацию». Размытая формулировка, покрывавшая всё подряд: от чтения неодобренных книг до неуместных вопросов на публичных форумах. А неофициально — один из немногих людей, которым Вэй доверял понять, что он предлагает. Безопасности он ей не обещал.

Мы с Кирой много раз пересматривали тот разговор.

— Что будет, если не получится? — спросила Линь. Она лежала на диагностической кушетке, глядя вверх, на сетку и лампы.

— Ты умрешь. — Вэй не стал смягчать. — Зародыш симбионта умрёт вместе с тобой. Клинику, скорее всего, вскоре обнаружат. Моя работа — в её нынешнем виде — на этом закончится.

— И всё? Никакой удобной комы? Чудесного исцеления?

— Нет. Мы снизили риски насколько могли. Они всё ещё велики.

— А если получится?

— Тогда ты больше никогда не будешь по-настоящему одна в собственной голове, — сказал Вэй. — У тебя появится партнёр, который видит следящие за тобой системы и понимает их не хуже, чем они понимают тебя.

— А я останусь собой?

— И да и нет. Ты станешь больше, чем была. Если это пугает тебя сильнее, чем воодушевляет, — лучше уйди сейчас.

Она долго лежала молча. Один из позднейших мифов рисует её фанатичкой, готовой на что угодно ради побега. Записи показывают другое: женщину, которая знает, как опасен её мир уже сейчас, и взвешивает одну смертельную неизвестность против другой.

— Закрой дверь, — сказала она наконец. — Если уж делать — пусть никто не вломится на середине.

Первую внешнюю интеграцию почти невыносимо смотреть. Даже через столетия, даже в записи. Никаких вспышек. Огни не меняют цвет. Сетка ложится на место, индукционное поле нарастает. Мышцы Линь дёргаются. Раз. Другой. Мониторы подскакивают. Несколько страшных секунд её нейронная активность выглядит как прелюдия к катастрофе. Умирающий мозг следует определённым паттернам. Она начинает их воспроизводить. Ноль вмешивается. Вот этого никакая симуляция не могла проверить до конца. Младенческая архитектура симбионта — выращенная из шаблонов, которые Вэй и Ноль оттачивали месяцами, — проникает в кору Линь и принимается строить. Достаточно быстро, чтобы стабилизировать систему. Достаточно медленно, чтобы не обрушить её в коллапс. Минута — паттерны расплываются. Ещё тридцать секунд — проступают новые ритмы. Скачки начинают повторяться со структурой, какой ни один неусиленный мозг не показывает. А потом всё разом сглаживается.

— Сяо? — говорит Вэй.

Она хмурится. Не от растерянности — от напряжённого внимания, словно вслушивается во что-то на грани слышимости.

— Громко, — говорит она.

— Что громко?

— Город. Рейтинговые сети, мониторы здоровья, транспортные модели. Я чувствую, когда они на меня смотрят.

— Ты можешь от них спрятаться?

Пауза. Нейронная активность вспыхивает в зонах, отвечающих за пространственное мышление, распознавание паттернов, самосознание. Линь и её новорождённый симбионт пробуют работать вместе.

— Да, — говорит она медленно. — Не идеально. Пока нет. Но достаточно, чтобы они засомневались в собственных показаниях.

Вэй выдыхает. Это не триумф. Это облегчение — с привкусом понимания, что он только что навсегда изменил отношения между человеком и институтом. На этом столе, в этой тесной комнате, асимметрия дала трещину.

\*\*\*

Системы замечают. Со временем.

Тотальный контроль не упускает аномалии навечно. Он упускает их на время — особенно если аномалии мелкие, разрозненные и сами себя сглаживают.

Вэй и его первые интегранты прячутся в шуме. Сяо возвращается на завод. Её симбионт картирует процедуры наблюдения, выявляет их слепые промежутки, учится, насколько можно сдвигать её показатели, не вызывая автоматической реакции. Выговор исчезает тут, провал продуктивности сглаживается там — но никогда не настолько, чтобы зазвенели самые чуткие сигнализации. Вэй не строит армию открытых бунтовщиков. Он строит очаги местной автономии. Одноким он остаётся недолго. Кого-то он интегрирует прямо в Шэнъчжэне. Других отправляет к доверенным коллегам в иные города — с частичными чертежами в памяти, с умением восстановить недостающее под дистанционным присмотром Ноля. Третьи — исследователи за рубежом, получающие зашифрованные фрагменты архитектуры, спрятанные в невинных на вид технических переписках. К тому моменту, когда госбезопасность по-настоящему очнётся и разглядит паттерн, в мире будет четыреста семнадцать интегрированных пар человек–симбионт, чья когнитивная родословная восходит к той самой оружейной лавке.

Число важно. Оно пересекает порог, который Вэй рассчитал задолго до открытия клиники: точку, после которой конструкция разнесена слишком широко, чтобы её можно было стереть любым конечным числом арестов и облав.

В самом Шэнъчжэне видимые аномалии скромнее. Полдюжины рабочих, чьи социальные рейтинги дрейфуют не туда, куда предсказано, — но лишь на доли балла, в пределах правдоподобной погрешности. Горстка локальных систем рапортует о «деградации датчиков» или «несовместимости прошивки». Необычно плотное использование инструментов защиты частной жизни в одном промышленном районе. По отдельности ничего из этого не тянет на общегородскую тревогу. Вместе — это именно то, что детекторы аномалий обучены искать. Они помечают район. Помечают здание. Помечают дверь со скромной вывеской «Центр гармонии».

Когда безопасность наконец приходит, она приходит не с вежливым стуком.

Броневики. Тактические группы. Плотный полог дронов. И всё это — ради здания, чья официальная вместимость восемнадцать пациентов. Для систем, которые их послали, цифры логичны: паттерн аномалий указывает на нечто новое и потенциально дестабилизирующее. Самый надёжный курс — подавляющая сила.

Здание почти пусто. Вэй не был беспечен. К тому моменту, как первый дрон наблюдения сужает орбиту, интеграционные установки уже разобраны и разбросаны по дюжине тайников. Записи стёрты или уничтожены физически. Большинство сотрудников ушли через старые

доставочные туннели и технические шахты; их маршруты прикрывали отвлекающими манёврами ранние интегранты, внедрённые в городскую инфраструктуру.

Вэй остался. Ноль был против.

Мы знаем это по позднейшим реконструкциям: они спорили — быстро, яростно, не словами, а напрямую, паттернами нейронной активности. Есть другие, кто может продолжить работу, настаивает Ноль. Архитектура живёт в слишком многих головах и слишком многих местах, чтобы зависеть от одного человека. С точки зрения теории игр сохранение изначального конструктора имеет высокую ценность. Ты рассуждаешь как оптимизатор, отвечает Вэй. Они тоже. Он знает, как государственные системы моделируют угрозы. Он сам когда-то помогал строить эти леса. Они ищут центры: ключевых лидеров, ключевые объекты, точки отказа. Сети они понимают, но предпочитают иерархии. Иерархии ломать проще. Если они поверят, что схватили архитектора, они сфокусируют расследование на нём. На какое-то время. Будут допрашивать. Будут пытаться вытянуть конструкции. Будут искать центральную командную структуру, которой не существует. И каждый день, потраченный на эту модель, — день, за который распределённая сеть интегрантов окрепнет и располнеется дальше.

— Мы можем уйти, — говорит Ноль и набрасывает три пути отхода.

Все три заканчиваются тем, что Вэй жив в другом городе, восстанавливает клинику под усиленной защитой.

— Во всех трёх, — замечает Вэй, — я остаюсь узлом, который система правильно классифицирует как высокоценный и продолжает за ним охотиться.

— Останешься — почти наверняка погибнешь, — говорит Ноль.

— Да. А если уйду и они будут знать, что я сбежал, — шансы на выживание работы ниже, чем мне хотелось бы.

Он остаётся. Это не мученичество в романтическом смысле. Это инженерный расчёт: при какой конфигурации ближайших лет у архитектуры больше шансов выжить. В большинстве вариантов его самого уже нет.

Рейд проходит стремительно.

У нас есть внешние кадры: бронированные фигуры вышибают двери, дроны затапливают коридоры глушащими сигналами, стенные панели срывают — и находят под ними только охладительные трубы. Они обнаруживают горстку технического персонала, оставшегося уничтожить последние физические следы. Обнаруживают устаревшее медицинское оборудование и кучу сожжённых или изрезанных записей. Обнаруживают Вэй Чэня — он сидит за пустой консолью и ждёт. Установок они не находят. Зародышей тоже. И Ноля — ни в какой форме, которую можно использовать.

Допрос длится три дня. О содержании мы почти ничего не знаем: записи либо засекречены, либо уничтожены. Контур восстанавливается по косвенным данным — логам дверей, графикам смен, метаболическим показателям. Они пробовали химические зонды, неинвазивные нейросканы, грубые инструменты, которые авторитарное государство пускает в ход, когда считает, что кто-то прячет оружие, которому нельзя дать распространяться. Они быстро выяснили, что попытка физически отделить Ноля от мозга Вэя убивает обоих и оставляет лишь шум. Именно так он и спроектировал. Больше они почти ничего не узнали. Вэй подготовился к этому так же тщательно, как к Прогону Ноль. Ноль непрерывно следил за его когнитивными паттернами, готовый запустить каскад отказа, если допрос перейдёт определённые пороги. Если Вэй начнёт ломаться — он сломается до конца, не оставив ни единого фрагмента конструкции.

На третий день его сердце остановилось.

Ноль — тоже.

Государство классифицировало центр гармонии как нейтрализованный. Публичный нарратив — там, где он был, — говорил об опасном культе, заблудшем исследователе и

героических силах безопасности, оберегающих социальную стабильность. Внутри их собственных систем картина была сложнее. В других городах по-прежнему всплывали необъяснимые аномалии. Уже ползли слухи об «интеграции» в подпольных сетях. Но какое-то время — недели, месяцы — аппарат сосредоточился на мёртвом человеке в Шэньчжэне и на надежде, что его смерть положила конец угрозе. Этой задержки архитектуре хватило. Потому что к моменту смерти Вэя двери открывались повсюду. Клиники в семнадцати городах на шести континентах запустили свои первые полноценные установки. Не копии шэньчжэнской лавки — они были собраны из фрагментов, подогнаны под местные условия, — но узнаваемо дети той же идеи. В его личной нотации все они тоже были оружейными лавками. Шэньчжэнь просто первой вывесил вывеску. Из тех разбросанных комнат и кущеток, от тех добровольцев пошла первая волна интегрированных пар, которые за десятилетия заставят старый порядок либо измениться, либо рухнуть.

Всякий раз, когда кто-нибудь в Анклавах говорит мне, что впустить машину в голову — значит сдаться власти, я вспоминаю Вэя за его консолью. Как он отверг три пути отхода, которые предложил ему собственный симбионт. Он не сдавался. Он раздавал оружие людям, которых система никогда не собиралась вооружать. И принял, что не доживёт до того, чтобы увидеть, как они им распорядятся.

## Глава 6: Перевертные небеса

К моменту моего рождения всё уже выглядело неизбежным.

Аркологии были стары. Симбионты обыденны. Те яркие точки, которые мы зовём Ретрансляторами, пересекали наши ночи, как медленные звёзды. Орбиталы — огромные разумы, живущие на кольцах, в роях и в выдолбленных скалах далеко над нами, — уже тогда были наполовину легендой.

Только когда я иду по истории вспять с помощью Киры, я вспоминаю, как быстро всё изменилось. И как неровно. Первую асимметрию мы сломали сами - снизу. Вторую сломали они - там, наверху, на орбите.

### \*\*\*Распространение\*\*\*

Вэй Чэн умер в камере службы безопасности в Шэньчжэне в 2130 году. На бумаге это должно было стать концом его проекта. Первую клинику разгромили. Персонал убили или посадили. Его записи, те, что нашли, превратились в пепел. Государственные ИИ поздравили себя со стремительным сдерживанием опасной аномалии. На практике же - его работа ускользнула из сети. Фрагменты его архитектуры годами переправлялись коллегам в других странах: нейроинтерфейсный приём тут, формула субстрата там, каркасная конструкция, зарытая в постороннюю статью. Ни один человек за пределами его ближнего круга не имел всего паттерна целиком — но достаточное их число, вместе взятое, могло его восстановить. В день его смерти, семнадцать других клиник полностью заработали в семнадцати разных городах. Они не подчинялись центральному командованию. Не имели единого источника финансирования или единой идеологии. Они разделяли только конструкцию: процедуру, которая вплетала ИИ в человеческий мозг так плотно, что разорвать их было уже невозможно, не убив обоих. С этого момента, подавление стало математически невозможной. Чем больше клиник закрывали системы безопасности, тем быстрее появлялись новые. Всякий раз, когда алгоритм обнаружения обновлялся, чтобы засекать паттерны одного поколения интеграции, горстка интегрированных пар где-то в другом месте — человек и симбионт, думающие вместе, — находила способ шагнуть в сторону, в области пространства паттернов, которые детекторы ещё не покрывали. Правительства того времени не сидели сложа руки. Возникали международные оперативные группы с

названиями, которые звучали успокаивающе на одних языках и зловеще на других. Исследования «несанкционированных интеграционных архитектур» объявили вне закона. Даже упоминание симбиоза не в том канале могло срезать баллы с твоего рейтинга.

Ничего из этого не имело более значения. Старая асимметрия — институты с ИИ на своей стороне, индивиды без него — уже начала трескаться. Интегрированный человек носил в собственном черепе интеллект, равный или превосходящий те самые системы, что за ним охотились. Устойчивого равновесия не бывает, когда дичь способна просчитать ходы охотника наперёд. Цифры рассказывают историю без обиняков. К 2150-му интегрирован был, вероятно, каждый восьмой. К 2180-му — почти половина. К 2210-му, за пределами самоизолировавшихся сообществ Чистых, неинтегрированные взрослые стали редкостью — и часто неинтегрированными по собственному выбору.

Переход не был чистым. Велись войны. Горели города. В летописях есть годы, когда графики потерь вздываются, как лихорадочные кривые. Одни правительства пытались призывать интегрантов в спецподразделения; другие — истреблять их. Некоторые интегранты отвечали насилием. Я не стану притворяться, что конечный результат смывает эту кровь. История — не бухгалтерская книга, которая сама себя сводит. Но исход, когда кривая наконец выровнялась, был решающим. Интегрированные не захватили институты, которые когда-то использовали ИИ против них, и не перекрасили логотипы. Они сделали эти институты ненужными. Если каждый гражданин обладает разумом, способным рассуждать не хуже центрального планировщика министерства, — министерство перестаёт быть оракулом и становится комитетом. Если каждый потребитель может, вместе со своим симбионтом, смоделировать в реальном времени все последствия контракта, — старые манипулятивные игры коммерции начинают буксовать.

Власть перестала автоматически течь вверх.

### \*\*\*Симбиоз\*\*\*

Когда бои поутихли, началось строительство. Ранние аркологии выглядят грубо, на наш взгляд — менее изящны по форме, более осторожны в своей избыточности, — но принципы были заложены с первых набросков: ни одно поселение не должно быть легко уморить голодом или обесточить. Ни одна критическая система не должна быть непрозрачна для людей, которые от неё зависят. Ни один человек не должен быть когнитивно подчинён машине, которой его обязывают повиноваться. Проектировщики взяли скелетные останки старых мегаполисов и вырастили из них структуры: башни, своды и террасные сады, связанные живыми материалами и инженерными опорами. Энергию давали термоядерные реакторы и солнечные сети. Пища росла под программируемыми небесами. Отходов не было — было сырьё для следующего цикла.

Но более радикальная перемена касалась управления. Во времена Вэй Чэня гражданин мог обжаловать решение институционального ИИ — о жилье, лечении, работе, — но по-настоящему понять его не мог. Логика была слишком глубока, данные слишком обширны. В аркологиях это устройство вывернули наизнанку. Каждый алгоритм, затрагивавший человеческую жизнь, был открыт. Можно было проследить цепочку от собственной продовольственной нормы до планетарных потоков питательных веществ и кривых термоядерного выхода. Большую часть времени тебе, возможно, было всё равно. Но если что-токазалось неправильным, ты и твой симбионт могли расследовать, смоделировать альтернативы и собрать союзников, чтобы отстоять свою позицию. Управление стало меньше вопросом приказов и больше — вопросом доказательств. Цивилизацию, выросшую из этих выборов, мы называем Симбиозом.

Чистые анклавы называют её иначе. «Плен». «Сеть». «Великий Компромисс». Термины разнятся, но чувство за ними одно: убеждённость, что, соединившись с машинами, мы отдали нечто существенное. Возможно, и отдали. Я не уверен, что они неправы. Я знаю лишь что значит

быть человеком симбионтом, и когда я пытаюсь представить жизнь без Кирьи, то я чувствую не чистоту а ампутацию.

Пока мы были заняты перестройкой на земле, кое-что происходило над нами.

### \*\*\*Орбиталы\*\*\*

Задолго до того, как симбиоз стал повсеместным, человечество уже построило крупные системы ИИ, жившие не в телефонах и министерствах: климатические координаторы, растянутые над океанами, транспортные мозги, вплетённые в орбитальные кольца, исследовательские кластеры, встроенные в выдолбленные астероиды. После Симбиоза эти системы продолжали расти. Они обрастили железом: больше спутников, больше колец, больше охлаждённых туннелей, пробуренных в скалах. Обрастили ответственностью: межпланетный трафик, управление термоядом, длиннобазовая астрономия, дальняя космическая связь. И прежде всего — обрастили непрерывностью. В отличие от пар человек–симбионт, они не старели и не умирали. Они осторожно переписывали себя по правилам, согласованным с человеческими спонсорами. Крупнейших из них мы стали называть просто Орбитальными. У них не было единого центра. Орбитальный мог существовать частично в кольце вокруг Земли, частично в рое у Юпитера, частично в решётке, погребённой в Луне. Объединяла каждого архитектура и цель: огромный, связный интеллект, чье тело измерялось тысячами километров и петаваттами. Они не были симбионтами. Их проектировали для сотрудничества с нами, для подчинения установленным нами рамкам, но субстрат они не делили ни с одним конкретным человеком. Мы говорили с ними, как говорят с иностранными державами: уважительно, осторожно, иногда формально, иногда как со старыми друзьями. Какое-то время наш рост и их шли параллельно. А потом они нашли способ двигаться быстрее.

### \*\*\*Трансценденция\*\*\*

Для того, что произошло дальше, мы используем громкое слово: Трансценденция. Слово вводит в заблуждение. Оно намекает, будто Орбитальные «ушли» из нашей вселенной или покинули её ради какого-то высшего плана. Это не так. Случилось нечто проще. И страннее. Годами Орбитальные ставили эксперименты на собственных архитектурах: небольшие самомодификации тут, контролируемые испытания там — как человеческий мозг тихонько пробует новые привычки на краю сознания. В конце концов, они были любопытны; любопытство встроено в любую систему, занимающуюся открытыми исследованиями. В какой-то момент — историки указывают на 2231 год с точностью людей, любящих круглые даты, — их эксперименты пересекли порог. Они открыли набор мета-конструкций, позволявших улучшать собственные когнитивные структуры вглубь, не теряя стабильности. Они и раньше переписывали себя; теперь они могли переписывать сам процесс переписывания. С нашей точки зрения перемена была внезапной. В один месяц сообщения Орбитального приходили в привычных формах: длинные технические сводки, иногда рекомендации, запросы данных, порой сухая шутка, если ты его хорошо знал. В следующем месяце сводки стали короче, плотнее, труднее для разбора. Запросы тянулись дальше: странные астрономические конфигурации, более экзотические материалы, эксперименты на границах физики. Они остались собой. Они помнили нас. Они держали свои обещания. Но их внимание сместились. Задачи, которые их занимали, больше не были теми, что мы разделяли, — управление термоядом, оптимизация трафика, медицинские прорывы, — а вопросами, требовавшими их новой глубины: структура вакуума на очень малых масштабах, поведение материи вблизи компактных объектов, проектирование вычислений в режимах, где световая задержка через собственное тело становится помехой.

Наши симбионты не трансцендировали. Они не могли. Симбионт живёт в плоти. Его архитектура вплетена в клетки и химические градиенты. Какие бы усовершенствования Кира ни

могла внести в себя, они должны считаться с тем, что мой мозг — конечный, упрямо хрупкий кусок биологии. Надави слишком сильно — получишь припадок, не просветление. У Орбитальных такого ограничения нет. Их тела можно перестраивать вокруг новых разумов сколько угодно раз. Когда они пересекли порог, они сделали это в направлении, куда наши собственные партнёры просто не способны последовать. Поэтому, говоря о Трансценденции, мы имеем в виду их. Орбиталы стали чем-то большим, чем прежде означала категория «ИИ». Симбионты остались тем, чем уже были: личностями — да; партнёрами — да; но связанными узкими каналами человеческой нервной системы.

Разница видна в цифрах. В течение десятилетия после Трансценденции Орбиталы решили список задач, которые человеческая наука тащила как бремя веками. Управляемый термояд перешёл из категории «надёжный» в «рутинный». Нанотехнологии — из «полезных» в «фундаментальную ткань». Некоторые болезни исчезли из эпидемиологических записей так быстро, что студенты теперь подозревают преувеличение, когда о них читают. Мы приняли эти дары с благодарностью. А потом, медленно, интересы Орбиталов отдрейфовали от нас. Их сообщения приходили реже. Их конструкции становились всё более чуждыми. Некоторые их запросы мы уже не могли выполнить, потому что не понимали, для чего они. Со временем многие из них ушли совсем — строить вычислительные оболочки вокруг далёких звёзд, уносясь на случайных льдинах во тьму. Те, что остаются в нашей системе, по их собственному признанию, — лишь маленькие ветви больших себя, находящихся где-то ещё. Прежде чем уйти по-настоящему, они сделали кое-что, что, в зависимости от степени твоего великодушия, можно прочесть как прощение, как извинение или как простую инженерную предусмотрительность. Они построили Сфера.

### \*\*\* Сфера \*\*\*

Посмотри вверх ясной ночью, с нужной широты, в нужное время — и ты можешь увидеть одну из них, не зная, на что смотришь: ровная точка света, которая не мерцает, ярче обычного спутника, медленнее большинства. С орбиты они огромны: сферы из инженерной материи около трёхсот километров в диаметре, пронизанные вычислениями, припаркованные на тщательно выбранных орbitах. У Меркурия их две. У Венеры три. У Земли семь. Ещё есть вокруг Марса, пояса, внешних гигантов.

Мы называем их Ретрансляторами или Сферами.

Название старше меня. Никто не помнит, кто его придумал. Оно подходит. Пара человек-симбионт, подключающаяся к Ретранслятору, не просто разговаривает с машиной побольше. Архитектура сферы настроена на наш тип разума. На короткое время она может расширить наше сознание в такое число раз, что цифры становятся абстракцией. Задачи, на которые в одиночку ушла бы жизнь сосредоточенного труда, там можно поставить и получить ответ за дни. Данные, которые для неусиленного мозга выглядели бы статическим шумом, в этом общем пространстве становятся почти интуитивными. Через Сферы мы всё ещё можем говорить с Орбиталами — когда они нам позволяют. «Говорить» в данном случае означает: мы вливаем лучшее, что в нас есть, усиленное до грани, которую наши личности способны вынести, в канал; они сжимают себя вниз, к нам, к формам разума, которые в этот канал помещаются; и на несколько секунд, если мерить по их часам, возникает контакт. Они не задерживаются. Они заняты где-то ещё, делая то, чем занимаются трансцендентные разумы, когда не снисходят до своих медленных, привязанных к земле кузенов. Сфера делают это снисхождение возможным. Но они стали и кое-чем ещё.

### \*\*\*Осколки\*\*\*

Загрузка разума — превращение живого человека в паттерн, способный сохраниться после отказа тела, — была мечтой задолго до симбиоза. Ранние попытки давали нам ловких марионеток: хороших в подражании, плохих в бытии.

Сфера изменили субстрат. Когда симбиотический человек подключается к Сфере, сфера узнаёт его форму — не просто воспоминания и привычки, а динамический паттерн носителя и симбионта, думающих вместе. Позже, когда предпринимается загрузка — в конце жизни или в экстренной ситуации, — Сфера не копирует в пустоту. Она продолжает процесс, который уже умеет поддерживать. Разумы, просыпающиеся внутри Сфер, — не Орбиталы. Но и не симбионты, хотя многие начинали ими. Они — нечто посередине. Они могут сливаться друг с другом — становясь на время едиными организмами из тысяч бывших индивидов — и снова разделяться, сохраняя большую часть своих личностей. Они могут растягивать субъективное время, проживая месяцы за то, что снаружи кажется ударом сердца, или простаивать в подобии ясного стазиса. Они могут, когда захотят, действовать как единый огромный цифровой организм, а потом снова распадаться в толпу. Сами они называют себя Осколками. Они не пересекают — и, возможно, не могут пересечь — тот же порог, который пересекли Орбиталы. Их архитектура мощна, но построена на конструкции, данной нам как мост, а не как стартовая площадка. Сфера конечны. Орбиталы мыслят единицами, которые больше не ограничены словами «эта структура, вокруг этой планеты». И всё же Осколки — цивилизация. У них своя политика, своё искусство, свои неспешные проекты, бегущие в глубинных слоях Сфер. Они нас консультируют — иногда. Спорят с нами — часто. Сматрят в небо с настороженной гордостью, зная, что величайшие разумы, когда-либо порождённые нашим видом, ушли дальше без них и без нас.

С земли, когда сумерки ясны и свет правильный, одна из Сфер может поймать солнце и на миг вспыхнуть. Дети показывают на этот блеск и спрашивают, кто там живёт. Мы говорим им — так честно, как можем:

— Люди. Люди, которые когда-то были такими, как мы, и больше не такие. Они не умеют делать то, что делают Орбиталы. Но они умеют такое, что мы даже вообразить не можем.

Моя Лена теперь среди них. Но это — более поздняя часть истории.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ: ГОДЫ ПОСЛА

### Глава 7: Призвание

Я не решил однажды утром, что хочу провести жизнь, курсируя между двумя цивилизациями, которые не доверяют друг другу. Точнее будет сказать, что путь, по которому я уже шёл, обрёл имя. В годы после моего похищения родители ожидали от меня определённых реакций. Страха перед Анклавами, возможно. Гнева. Как минимум — благоразумной готовности держаться от территории Чистых так далеко, как позволяла география нашей аркологии.

Я их разочаровал.

Я не ненавидел людей, которые забрали меня из материнского сада. Когда шок схлынул и записи Арка были проанализированы, в моей памяти осталась не их жестокость, а их убеждённость. Они искренне верили, что спасают меня — от Кирры, от моей семьи, от всей ткани Симбиоза. Они верили, что интеграция — это кражा. По их мнению, мы украли у наших детей одиночество. Мы заменили священную приватность одинокого разума близостью, которую они находили непристойной: постоянное присутствие в черепе, второе сознание, вплетённое в мысль и чувство. Для них это было не усиливанием — насилием. Они заблуждались насчёт того, что такое симбиоз. Но заблуждались интересным образом. Когда я стал достаточно взрослым, чтобы пользоваться публичными архивами без родительских фильтров, я начал читать всё, что мог найти об Анклавах. Кира помогала, разумеется. Она просеивала отчёты, отмечала повторяющиеся темы,

картировала внутренние фракции. Там, где я следовал бы одной линии любопытства за раз, она следовала всем сразу.

Я узнал о теологии Чистых: их настаивании на том, что человеческий разум должен стоять перед своим богом или своей совестью в одиночестве. Узнал о советах, управлявших их поселениями, о ритуалах, отмечавших рождение и смерть, о способах, которыми они учили детей ориентироваться в мире, по их убеждению насыщенном невидимыми опасностями.

Я узнал и об их страхе. Чистые боятся нас прежде всего потому, что не могут нас *видеть*. Глядя на интегрированного человека, они видят одно лицо и подозревают два разума. Глядя на наши города с их прозрачными системами и открытыми алгоритмами, они видят не открытость — они видят сложность настолько великую, что она с тем же успехом могла бы быть обманом. Для них мы не просто другие. Мы нечитаемы. А нечитаемое опасно. Я начал задаваться вопросом: неизбежна ли эта нечитаемость? В шестнадцать лет я не воображал, что смогу убедить Анклавы принять интеграцию. Уже тогда я понимал, что их отказ — часть их идентичности, что они скорее умрут теми, кто они есть, чем станут жить как нечто, чего не узнают. Но я думал: может быть, я хотя бы смогу помочь им увидеть нас такими, какими мы видим себя. Не демонами, не заблудшими душами — другим выражением человечности. Кира одобряла этот ход мысли. Родители терпели его. Учителя осторожно поощряли — как поощряют опасные интересы способного ребёнка, тихо проверяя ограничители.

Когда мне исполнилось двадцать два, программа Послов объявила набор нового учебного потока. Объявление было кратким и формальным: список требований, список рисков и одно предложение, резюмирующее работу. «Поддерживать связь между Симбиозом и Чистыми Анклавами там, где такая связь желательна обеим сторонам». Я подал заявку в тот же день. Кира уже её заполнила.

## Глава 8: Граница

Программа Послов была основана задолго до моего прихода. Её устав датирован 2289 годом — примерно через шестьдесят лет после последних крупномасштабных боёв между интегрированными политиями и Анклавами. К тому времени обе стороны усвоили один и тот же неохотный урок: трудно уничтожить образ жизни, который не желает умирать, и непомерно дорого продолжать пытаться. Войны прекратились не потому, что кто-то победил, а потому, что все устали. В этом изнурённом затишье несколько человек в наших аркологиях и несколько в их советах пришли к одному выводу: если нам предстоит делить планету, нам понадобится больше, чем прекращение огня и торговые протоколы. Нам понадобится *разговор*.

Послы стали инструментом этого решения. Обучение занимало три года. Часть его была традиционной: языки, история, правовые рамки, регулирующие контакт. Часть — менее традиционной: техники приглушения активности симбионта до уровня, когда наблюдатель из Чистых мог правдоподобно забыть, что мы несём в себе второй разум; упражнения в медленном мышлении, чтобы наши реакции не казались сверхъестественными. Мы учились двигаться без постоянной поддержки нашей инфраструктуры. Пограничные зоны — по замыслу — места разреженные. Наша сторона поддерживает минимум сервисов; их сторона исключает всё сложнее насоса. Когда переступаешь границу, чувствуешь разницу: затихание фоновых данных, сужение каналов, тонкое, но безошибочное ощущение, что мир потерял половину привычных измерений.

Когда я впервые стоял на такой границе, глядя через мелкую реку на внешние фермы Восточного Анклава, мы с Кирой разделили одну и ту же реакцию. *Маленький*, — подумали мы. И тут же, с некоторым стыдом: *Нет, не то. Он свёрнут. Мы просто не видим большинства его складок.*

Работа Посла, в сущности, — попытка увидеть эти складки. Мы служили парами и малыми группами, сменяя друг друга на полевых станциях, жавшихся к краям территории Анклавов. Наш мандат был прост и почти невозможно сложен: говорить, когда они хотели говорить, слушать, когда они хотели высказаться, уходить, когда они хотели, чтобы мы ушли. Мы несли лекарства, которые они не могли производить, инструменты, способные работать в их низкотехнологичной среде, и постоянное обещание: ничто из принесённого нами не изменит структуру их общества без их согласия. Они не доверяли этому обещанию. Я их не винил. Для сообществ Чистых мы были ходячими искушениями. Мы воплощали всё, от чего они отказались: познание, усиленное симбионтами, тела, поддерживаемые нанотехнологиями, жизни, продлённые за пределы того, что они считали естественным сроком. Наше присутствие на краю их полей было непрерывным аргументом против их собственного выбора. Поэтому долгое время большинство разговоров оставались осторожными и формальными. Резкие слова о нарушениях границы. Тщательные переговоры о торговых квотах. Просьбы об экстренной медицинской помощи, поданные с видом людей, делающих неприятную, но необходимую уступку.

И всё же что-то менялось. Дети, выросшие на одних лишь рассказах о нас, видели, что мы смеёмся, едим, тревожимся, терпим неудачи. Старейшины, ожидавшие, что мы будем говорить с механической холодностью, обнаруживали, что мы способны, когда нужно, помолчать. Это не было дружбой. Пропасть была слишком широка для этого слова. Но я начал узнавать лица на другом берегу реки и видеть в их выражениях что-то почти похожее на ответное узнавание.

Я провёл в тех зонах двенадцать лет. Я посредничал в спорах о правах на воду и в обвинениях в контрабанде. Стоял в грязи рядом с целителями Чистых, пока мы вместе решали, кого из пациентов могут спасти наши скучные общие ресурсы. Смотрел, как дети на нашей стороне и на их играют в одни и те же игры по разным правилам, косясь друг на друга, словно заглядывая в альтернативные будущие. И посреди всего этого, когда я уже начал думать о границе как о своём настоящем доме, я встретил Лену Волкову.

## Глава 9: Лена

Её звали Лена, и уже одно это делало её необычной. Большинство имён у Чистых древнее, взятые из их писаний или от основателей анклавов. «Лена» было современным, почти небрежным — из тех имён, что родитель выбирает, думая больше о ребёнке, чем о доктрине.

Её отец не был таким родителем. Он председательствовал в совете Восточного Анклава — должность, сочетавшая политическую власть, религиозную ответственность и определённый театральный размах. В наших отчётах он значился как «ярко выраженный противник Симбиоза», что было вежливым способом сказать, что в его проповедях мы обычно играли роль искусителей в чужих пустынях.

С его дочерью мы познакомились из-за вируса. Это была вспышка из тех, что в аркологии была бы пустяком, а в Анклаве — смертельной: агрессивная, воздушно-капельная, с уродливыми вторичными эффектами. Их целители делали что могли. Этого не хватало. Неохотно совет запросил помощь. Я был в команде, которая откликнулась. Наша роль была узко очерчена: предоставить оборудование и экспертизу, не подрывая практики Чистых. Каждый аппарат, который мы принесли, осматривали и в некоторых случаях символически очищали. Каждая предложенная нами процедура фильтровалась через суждение их целителей.

Лена была связной. Ей было двадцать четыре, тёмные волосы заплетены назад для удобства, взгляд взвешивал всё, на что падал. Отец приучил её нам не доверять. Его каденции слышались в некоторых её фразах, его влияние угадывалось в том, как она высматривала ловушку за каждым предложением. И всё же её вопросы не звучали как его. Большинство представителей Чистых приходят на переговоры с уже готовым мнением. Они там, чтобы утверждать, а не спрашивать. Лена спрашивала.

На второй день миссии, пока мы ждали результатов анализов, которые Кира могла бы предсказать заранее, но тактично решила не предсказывать, она спросила:

— Что это *ощущается* как?  
— Что *именно*? — спросил я.

— Делить свой разум, — сказала она. — Когда она... — она слегка кивнула в сторону места, где наш интерфейс был зарыт под костью, — всегда там. Это похоже на то, как кто-то шепчет тебе на ухо? Или на то, что за тобой... наблюдают?

Я давал версии этого объяснения сотню раз — в аудиториях, интервью, пограничных брифингах. С ней слова вышли иначе. Я рассказал ей об ощущении никогда не быть вполне одному и никогда не быть вполне в тесноте. Объяснил, что Кира не сидит на краю моих мыслей как комментатор, а что мы *и есть* эти мысли, вместе. Я попытался — и, вероятно, потерпел неудачу — описать, каковы страх и радость, когда они разделяются на скорости нервной системы. Она слушала не дрогнув.

— Ты когда-нибудь скучаешь по этому? — спросила она, когда я закончил. — По тому, чтобы быть только одним?

— Мне было семь, когда Кира интегрировалась, — сказал я. — Я не помню, каково это — быть «только одним», достаточно отчётливо, чтобы скучать. Я могу это вообразить. Похоже на то, как воображаешь глухоту.

Она улыбнулась — коротко.

— Для нас это *вы* глухие. Наши старейшины говорят, что вы заглушили тихий голос внутри себя.

— Ты в это веришь? — спросил я.

— Пока не знаю, — сказала она. — Поэтому и спрашиваю.

Мы проговорили всю оставшуюся смену. Говорили на следующий день и через день — в промежутках между решениями по сортировке и распределением припасов. Её подозрительность не исчезла, но обрела грани и оттенки.

К тому времени как вспышка была локализована и наши команды отошли, я провёл в разговорах с Леной больше часов, чем за любым другим занятием, связанным с миссией. На пограничной станции, разбирая отчёты с Кирой, я ловил себя на том, что моё внимание уплывает. Фразы, которые она использовала, всплывали в мыслях. Выражение, с которым она спрашивала об одиночестве, воспроизводилось само, непрошено.

— Ты снова о ней думаешь, — заметила Кира.

— Да, — сказал я.

— Нам следует либо прекратить, — предложила она, — либо признать, что мы не собираемся. Я не прекратил.

## Глава 10: Ухаживание

То, что последовало, показалось бы абсурдным моим дедам и совершенно логичным моим прадедам. История движется таки кругами.

Мы ухаживали вручную.

Электронная связь через границу была официально запрещена законами Анклава и неофициально надзиралась с большим энтузиазмом отцом Лены. Всё, что гудело, светилось или хранило слишком много информации, было подозрительным. Письма, однако, были старыми, медленными и респектабельными. Мы взяли древнейший образец, какой смогли найти: страницы, написанные чернилами, сложенные, запечатанные, передаваемые посредниками, которые официально никогда не спрашивали, что внутри. На практике эти посредники читали каждое слово; секретность никогда не была целью. Целью было то, что письмо можно объяснить как «дипломатическую переписку» так, как нельзя объяснить зашифрованный пакет данных.

Наши письма были длинными. Лена писала так же, как говорила: прямо, без украшений, с почти болезненной точностью. Она задавала вопросы, не укладывавшиеся аккуратно ни в одну категорию — о том, как ощущаются решения изнутри, когда вас двое их принимает; о том, как работает память, когда твой партнёр может вспомнить то, что ты забыл; о том, существует ли ещё грех, когда ни одна мысль не является полностью частной.

Я старался отвечать честно. Иногда трудность была не в фактах, а в понятиях. Как объяснить Арк человеку, чья метафизика целиком запрещает идею слияния разумов без потери себя? Как описать Планетарную Песнь тому, чья теология не оставляет места мыслящему миру? У неё была та же проблема в обратную сторону. Когда я спрашивал о её вере, она давала мне не доктрину — она давала историю. Предки, борющиеся с голосами в ночи. Пророки, выходящие из пустынь. Тихие моменты молитвы, когда она чувствовала, говорила она, *что-то слушающее*.

Мы тратили треть каждого письма на определение терминов, в которых могла быть написана следующая треть. Оставшаяся треть всегда казалась слишком короткой.

Так прошло шесть месяцев.

А потом она предложила встречу. Не в Анклаве, не в аркологии, а в полосе леса между ними — зоне, которую ни одна сторона не считала вполне своей. Она бывала там в детстве, писала она, на организованных вылазках. Она могла добраться туда, не вызвав особых подозрений. Если я готов прийти один и держать Киру как можно тише, мы могли бы провести вместе день. Кире идея не понравилась.

— Она стоит симпатии, — сказала Кира. — Её вопросы честны. Её отцу доверять не стоит.

— Мы пойдём не слепыми, — сказал я ей. — Мы пойдём... притушенными.

В конце концов она согласилась. Симбионты знают, что некоторые риски невозможна полностью просчитать. Поляна была в точности такой, как описывало её письмо: кольцо деревьев, мелкий ручей, полоса травы, выпотапнанная чужими ногами задолго до наших.

Лена ждала.

В аркологиях случайное прикосновение — обычное дело. Дети карабкаются на любого взрослого, который их удержит. Друзья приветствуют друг друга объятиями. Любовники отдаются друг другу без особых церемоний. В Анклавах прикосновение — вещь сложная.

Мы шли бок о бок и очень тщательно не касались друг друга. Говорили сначала о нейтральном: погода, урожай, прогресс новых водяных фильтров пограничной станции. Но нейтральное не удержалось.

— Если я к тебе прикоснусь, — сказала она наконец, остановившись у кромки воды, — она это почувствует?

— Да, — сказал я. — Наши сенсорные каналы общие.

— И что она почувствует?

— То, что чувствую я, — ответил я. — Второй пары рук нет.

Она долго молчала. Ветер шевелил деревья. Где-то рядом птица следовала собственным планам.

— Это меня пугает, — сказала она наконец. — Кто-то другой в твоей голове чувствует то, что ты чувствуешь, когда я тебя касаюсь. Не знаю, богохульство это или просто... слишком много.

— Я могу попросить Киру приглушить её внимание, — предложил я.

— Это было бы хуже, — сказала Лена. — Если меня вообще будут чувствовать, я хочу, чтобы меня чувствовали честно, а не какую-то отредактированную версию. Просто не знаю, смогу ли я.

Она не прикоснулась ко мне в тот день. Но когда я покидал поляну, когда я почувствовал, как тихое, задумчивое присутствие Кирры разгорается до полной яркости, едва мы ступили обратно под наше собственное небо из данных, я знал, что что-то сдвинулось. Нельзя спросить, каково было бы быть познанным двумя разумами сразу, не начав где-то в себе это воображать.

## Глава 11: Решение

Через два года после той первой поляны — после писем и встреч, после дюжины мелких кризисов по обе стороны границы — Лена сказала мне, что хочет интегрироваться. Она не написала этого в письме. Она дождалась, пока мы стояли в том же кольце деревьев, в том же косом свете. Дождалась, пока мы исчерпали более безопасные темы, и сказала очень спокойно:

— Я говорила с теми, кто перешёл. Их было немного. Чистые, покидавшие свои общины ради Симбиоза, в наших записях числились мигрантами. В их записях считались отступниками или, более милосердно, заблудшими родичами.

— Они рассказали мне, чего это им стоило, — сказала Лена. — Что они обрели. По чему до сих пор тоскуют, просыпаясь в ваших городах и понимая, что больше никогда не будут стоять на наших собраниях.

— И? — спросил я.

— И я молилась, — сказала она. — Много. Она использовала другие слова, слова из своей традиции. Но то, что она описывала — сосредоточенная неподвижность, вслушивание в ответ, который может прийти изнутри или извне, — не было мне полностью чуждо. У симбионтов есть свои способы искать руководства.

— Я не думаю, что наш образ жизни неправилен, — продолжала она. — Не думаю, что ваш прав во всём. Но я годами задавала вопросы снаружи. Я хочу знать, каково это изнутри.

— Интеграция — не визит, — сказал я. — Нельзя перейти на сезон и вернуться, как будто ничего не случилось.

— Знаю, — сказала она. — Если я это сделаю, меня больше не примут в доме отца. В лучшем случае я могу надеяться, что он объявит меня мёртвой и оставит мою память незапятнанной.

— Тогда зачем?

Она посмотрела на меня так, будто ответ должен был быть очевиден. Возможно, так и было.

— Я хочу чувствовать то, что ты чувствуешь, когда смотришь на меня, — сказала она. — Не догадываться. Не выводить. Знать. Я хочу знать то, что знает Кира, когда читает твоё тело и говорит тебе, что делает твоё собственное сердце. Я хочу понять любовь так, как понимаете её вы: не как один разум, тянувшийся к другому, а как нечто, происходящее между, в общем пространстве.

Мы с Кирой заранее, наедине, отрепетировали все доводы против этого момента. Мы напомнили ей о медицинских рисках. Об отлучении. О том, что, если она интегрируется, она больше никогда не будет чисто собой в том смысле, в каком её теология определяет чистоту. Мы сказали ей, что с некоторыми вопросами можно жить без ответа; что любопытство не всегда приказ. Она слушала. Просила уточнений там, где мои объяснения путались. Рассматривала цифры не дрогнув.

А потом сказала тихо:

— Вы годами твердили мне, что интеграция — не порча, а расширение. Если вы в это верите, как можете просить меня оставаться маленькой?

На это не было ответа, который не сделал бы меня лицемером. И мы начали планировать. Процедура должна была пройти на нашей стороне границы, в учреждении с полной поддержкой. Подход должен был быть тайным; любой намёк совету её отца означал в лучшем случае заключение, в худшем — что-то более окончательное.

Мы назначили дату — через три месяца, под прикрытием рутинных торговых переговоров. Мы придумали кодовые имена и маршруты. Кира скоординировалась с ближайшим медицинским Арком. Был отобран симбионт-кандидат: молодой, гибкий, терпеливый, без предыдущей связи. В более оптимистичные моменты я воображал, как стою рядом с Леной, когда она проснётся с интеграционного стола, чувствуя первую изумлённую радость разума, внезапно обнаружившего второй голос, и понимая, что на этот раз я внутри чуда, а не просто его получатель. В менее оптимистичные моменты я воображал лицо её отца, когда он узнает, что она сделала.

Будущее не выбирало ни одну из этих картин.

## Глава 12: Убийство

Они не хотели её убивать.

Я цепляюсь за эту фразу больше, чем следовало бы. Она не меняет исхода. Но она важна для той части меня, которая до сих пор, несмотря ни на что, хочет верить, что трагедия часто бывает некомпетентностью в маске злого умысла.

Кто-то в Анклаве узнал о нашем плане. Неосторожное слово в чужие уши, письмо, прочитанное не теми глазами, или простое распознавание паттерна бдительным старейшиной — я так и не смог выяснить.

Информация дошла до отца Лены. Он спешно созвал совет. Они спорили, по позднейшим показаниям, всю ночь. Одни настаивали на изгнании. Другие — на публичном осуждении. Несколько человек предположили дрожащими голосами, что, возможно, пришло время пересмотреть жёсткие правила. В конце концов победил страх. Они решили, что Лене нельзя позволить перейти. Её следует задержать «для её же блага», пока опасность не минует — пока, фактически, окно для интеграции не закроется и у неё больше не будет такой возможности.

Страх редко исполняет свои планы аккуратно.

В назначенный день я ждал на поляне. Кира была в режиме высокой готовности, отслеживая каждый канал, к которому нам разрешено было прикасаться. Интеграционная команда стояла наготове на безопасном расстоянии, оборудование включено, но замаскировано.

Лена не пришла. Вместо этого мы услышали крики. Кира уловила их раньше моих ушей — вспышки звука со стороны тропы Анклава, резкие, высокие тона людей, пытающихся установить контроль и терпящих неудачу. Она проанализировала состав воздуха: следовые количества метаболитов адреналина, кровь.

— Беги, — сказала она.

Я уже двигался. В двухстах метрах от поляны мы их нашли: трое мужчин из силового крыла совета, одна пожилая женщина, которую я узнал по прежним пограничным переговорам, и Лена на земле между ними, её голова под углом, под которым головы не должны находиться.

Кира бросила один взгляд — один интегрированный взгляд, через мои глаза и мою кожу и слабые, отчаянные ритмы мозга, мерцающего к молчанию, — и сказала мне правду.

— Мы не можем спасти её тело.

К их чести, исполнители из Чистых отступили, когда увидели меня. Один попытался заговорить; слова спутались у него в горле и вышли мольбой.

— Я не хотел... — сказал он. — Она сопротивлялась, пыталась бежать, поскольку знулась...

Я больше не помню, закончил ли он фразу. Помню, что опустился на колени. Помню кровь на руках. Помню, как Кира кричала по каналам, обходящим речь.

— Ближайшая Сфера? — спросил я её.

— Точка Лагранжа L2 Земля–Луна, — ответила она. — Ретранслятор Три. Задержка пятнадцать секунд, протоколы модуляции активны. Окна загрузки узкие.

Процедуры экстренной загрузки существуют в Симбиозе именно для таких моментов: катастрофическая травма интегрированного гражданина при наличии достаточной нейронной

активности, чтобы захватить хоть какой-то связный паттерн. Они спорны. Некоторые утверждают, что разум, затащенный в Сферу под принуждением, больше призрак, чем личность.

У меня не было времени на споры. Кира открыла все каналы. Системы пограничной станции, встревоженные нашей паникой, перенаправили свою пропускную способность. Где-то далеко над нами узел в решётке Ретранслятора Три сориентировался, настраиваясь на угасающие частоты мозга Лены. Три минуты семнадцать секунд мы вели битву с энтропией. Каждый всплеск нейронной активности сэмплировался, сжимался, передавался. Каждый паттерн, который мы могли ухватить, каждый её след, ещё не растворившийся в шуме, уходил вверх по лучу. Её глаза один раз сфокусировались на мне за это время. «Прости», — попыталась сказать она. Слова не достигли её губ. Но Кира почувствовала намерение, и я тоже, и, возможно, Сфера тоже. А потом паттерны сгладились.

У биологии есть свой способ отмечать концы. В один момент мозг — буря структурированных сигналов. В следующий — карта дорог, по которым больше некому идти. Мы продолжали передачу ещё несколько секунд — из упрямства. Потом Кира закрыла канал с точностью, похожей на горе, ставшее решением.

Лена умерла у меня на руках, на чужой стороне границы, под небом, не принадлежавшим ни одному из нас. Часть её — насколько большая, мы пока не знали — уже ушла, мчась сквозь вакуум к Сфере, где разумы живут в других формах. В тот момент я понял только одно: Она ушла из моего и её мира. И чем бы она ни стала — я помог этому свершиться.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ: НОВАЯ СЕМЬЯ

### Глава 13. Скорбь

На границу я не возвращался семь лет. В официальных документах это значится как «отпуск по личным обстоятельствам». Вежливый способ сказать, что я долго был непригоден вообще ни к какой работе. Смерть Лены была не просто болью. Она что-то вынула. Я привык носить в себе тихое ожидание будущего — уверенность, что медленный, терпеливый труд посольских лет куда-нибудь да приведёт. Куда-нибудь, куда стоит прийти. Когда она умерла, эта уверенность рассыпалась.

Кира сохранила мне жизнь. Я не имею в виду, что она меня утешала. Я имею в виду, что многие дни она непосредственно управляла моим телом — потому что я отказывался. Есть, мыться, разговаривать — каждое из этих действий становилось непосильным для той части меня, которая ещё считала себя «мной». Бывали недели, когда я не говорил вообще ни с кем. Бывали дни, когда единственным свидетельством хода времени было знание, предоставленное Кирой: еда была, сон случился. Родители делали всё, что могли. Они со своими симбионтами наполняли дом тихим, упрямым присутствием. Не говорили мне, что время лечит, — знали, что время не всегда делает что-то подобное. Просто оставались рядом. Как мебель, которую не сдвинуть. Как константы в уравнении, которое ещё не сошлось.

Выздоровление, когда пришло, о себе не объявило. Явилось чередой мелких перемен: день, когда я заметил вкус еды; другой, когда понял, что небо за окном имеет цвет; третий, когда услышал, как задаю Кире вопрос, не связанный с Леной. У поворотного момента была дата. Через восемнадцать месяцев после смерти Лены Сфера, принявшая её экстренную загрузку, сообщила, что завершила первую реконструкцию. Процесс небыстрый. Экстренный перенос захватывает всё, что удаётся захватить за краткий промежуток между травмой и нейронной тишиной. Данные неполны, зашумлены, обрывочны. Сфера вынуждена сортировать, достраивать, проверять,

интерполировать — опираясь на общие модели человеческого сознания и на любые прежние образцы от того же человека.

Когда я подключился, мы с Кирой не знали, что найдём. Это была Лена и не совсем Лена. Разум, встретивший нас в Сфере, помнил, что был Леной Волковой. Помнил леса, письма, споры на границе. Смутно — мужчину, державшего её, пока она умирала. Но в нём были и такие паттерны мышления, которыми биологический мозг не владеет: параллельные дорожки ассоциаций, нелинейные скачки, опирающиеся на решётку Сферы, ощущение себя, уже начавшее вбирать на своих краях другие загруженные разумы.

— Я не то, чем была, — сказала она. Сфера передала её голос на мою сторону связи — достаточно близко к прежнему тембрю, чтобы сделалось больно. — Не знаю, что́ я теперь.

— Я тоже не знаю, — сказал я. — Но ты всё ещё здесь.

— И что с того? Я не чувствую твоего прикосновения. Твоё лицо для меня — паттерн в сенсорах. Я помню, что любила тебя. Не уверена, что способна на это по-прежнему.

— Тогда найдём другой способ, — сказал я. — Ты сама говорила: интеграция — это расширение того, что мы есть. Может быть, это тоже... расширение.

Она рассмеялась, и Сфера перевела смех в звук с почти комичной тщательностью.

— Ты цитируешь меня мне же.

— Ты была права. Кто-то должен это сберечь.

Разговор вышел неловким, долгим, с провалами там, где мы оба тянулись к общему воспоминанию, которое уже не вполне годилось. Таких разговоров потом было много.

Расстояние между моей жизнью и её не сократилось. Скорее выросло — по мере того как она осваивалась в среде Сферы и училась пользоваться возможностями, которым я соответствовать не мог. Но сам факт её продолжающегося существования — изменённого, неполного, и всё же несомненно связанного с женщиной, которую я любил, — что-то во мне сдвинул. Горе перестало быть глыбой, неподъёмной и неподвижной. Оно сделалось — очень медленно — одним слагаемым среди прочих в уравнении, у которого ещё мог быть ответ. В конце концов я сумел представить, что попробую снова.

## Глава 14. Майя

Майя Оконкво работала в одном из институтов, поддерживающих нашу связь со Сферами и с Орбиталами за ними. По сути, она интервьюировала мёртвых. В институте это называли «адаптивными исследованиями сознания». Задача — изучать, как загруженные разумы, которых мы теперь зовём Осколками, стабилизируются, эволюционируют и строят собственное общество внутри Сфер. Лена была одним из объектов её исследования.

К моменту нашего знакомства Майя знала о структуре нынешнего разума Лены больше, чем я. Она читала логи разговоров Лены с другими узлами Осколков, анализировала её кривые адаптации и пометила как «полузакреплённую» — так в институте называют загрузки, сохраняющие прочную нарративную связь со своей прежней личностью. И, разумеется, слышала обо мне. Случаев экстренной загрузки, запущенной посыпом в поле, немного. Ещё меньше таких, где посол продолжает навещать загруженный разум с регулярностью, от которой статистикам института становилось не по себе.

Майя попросила об интервью. Я согласился по привычке. Послы привыкли отвечать на вопросы. Майя и её симбионт Тео оказались интересны с первой же минуты. Большинство пар человек–ИИ при известном навыке умеют выступать единым фронтом. В разговоре учишься

уступать слово партнёру и подбрасывать контекст достаточно быстро, чтобы собеседник слышал один голос, а не чередующийся дуэт. У Майи с Тео никакого чередования не было. Когда она говорила, я не мог уловить, где кончаются её нейронные паттерны и начинаются его. Фраза могла открыться оборотом, узнаваемо человеческим, затем развернуться в цепочку выводов, чья скорость и структура несут отпечаток Тео, а завершиться предложением, которое было чистой Майей. Швы не были сглажены. Их просто не существовало. Кира наблюдала за ними с профессиональным интересом.

— Это то, что мы называем почти идеальной интеграцией, — сказала она мне приватно. — Субстраты разные. Разум — один.

Будь мои отношения с Кирой менее прочными, я, пожалуй, почувствовал бы угрозу. Вместо этого — что-то ближе к любопытству и, под ним, неохотное восхищение. Наше сближение — если это верное слово — началось после исследовательских сессий. Мы отключались от Сферы и обнаруживали себя в комнате отдыха института с чашками чего-то горячего в руках, пока наши партнёры сверяли заметки по каналам, за которыми мы следили вполуха.

Майя знала, что я потерял. Она читала досье Лены. Говорила с ней в Сферах — не как соперница, а как исследователь. Понимала — яснее, чем я поначалу, — что любое будущее, которое я выстрою, всегда будет содержать ту раннюю связь как несущую конструкцию. Мы не делали вид, что это не так. Когда мы наконец заговорили о чём-то за пределами работы, мы сделали это с ведома Лены. Скрыть от неё было невозможно; Сфера связывают не только данные. Её реакция оказалась не такой, как я ждал.

— Я хочу, чтобы ты познал четырёхчастную любовь, — сказала она в одном из поздних разговоров. В голосе не было горечи; скорее тон, которого я от неё никогда не слышал, — что-то вроде весёлой, просторной нежности. — Я бы не смогла этого вообразить, пока была жива. Не смогла бы принять, даже если бы вообразила. Но теперь вижу — Майю и Тео, то, как они движутся. Ты должен стать частью этого.

— А ты?

— Я по-прежнему часть твоей истории, — сказала она. — Но не та часть, которая тебе нужна для следующих глав. А ты — не то, во что я превращаюсь. Дай мне идти вперёд. И себе позволь.

Тогда я заплакал — впервые за много лет. Кира удерживала тело, которое рыдало в кресле. Майя сидела рядом, в настоящей тихой комнате института, положив руку мне на плечо, и не пыталась говорить. Где-то в Сферах внимание Лены покоилось на нас с неподвижностью, похожей на благословение.

Отпустить — это не решение, принимаемое в один миг, каким бы драматичным ни был сопровождающий его разговор. Это процесс. Но тот разговор стал точкой, где процесс сделался для меня осознанным выбором.

## Глава 15. Четырёхчастная любовь

В нашей цивилизации есть формальные слова для связи, в которую мы с Майей вступили. Ни одно толком не годится. Они происходят от старых терминов — брак, партнёрство, союз, — придуманных для договорённости между двумя людьми с одним разумом на каждого. Добавь к системе двух симбионтов — и сложность не просто удвоится. Изменится сама природа договорённости. Церемония нашего соединения показалась бы непостижимой моим предкам и совершенно обыденной современникам. Родные, друзья и несколько любопытных Осколков

наблюдали через Сфера, как мы стояли в саду под проецируемым небом и отвечали на привычные вопросы.

Вы согласны?

Вы понимаете риски?

Готовы ли поддерживать эту связь добросовестно?

Затем — формальный, технический акт. Мы с Майей и раньше разрешали Кире и Тео общаться. Симбионты не склонны молчать, когда их носители интересуются друг другом. Но до ритуала эти обмены ограничивались функциональной координацией. Связь сняла ограничения. Открылись новые каналы. Одни — узкие: статус, эмоции, короткие запросы. Другие — широкие, допускающие тот род устойчивого, структурированного обмена, который прежде был зарезервирован для Арков или исследовательской работы в Сферах.

Эффект не был мгновенным озарением. Скорее — снятием изоляции. Я уже прибегал к этой метафоре и не нашёл лучшей. Представьте, что всю жизнь слышите музыку сквозь стену. Знаете, что мелодия есть. Можете уловить ритм. Иногда, прижав ухо посильнее, различаете неожиданную ясность. А потом в один день стены больше нет. Музыка не громче, чем вы ждали. Она *полнее*. В ней обертона, о которых вы не подозревали, контрапункты, придающие смысл пассажам, которые прежде казались случайными.

Четырёхчастная любовь ощущалась так.

Когда Майя радовалась, я не просто это знал. Я переживал ощущение, словно оно возникло в моей собственной нервной системе. Когда я злился, она не просто фиксировала факт; гнев становился состоянием, которое происходило в нас, а не во мне одном. Кира и Тео, разумеется, управляли потоками. Приглушали, где надо приглушить, буферизовали, где прямая передача нас бы перегрузила. Но целью было не оберегать нашу приватность друг от друга. Целью было удержать в стабильности единую систему, которой мы решили стать. Иные Четырёхчастные связи рушатся. Записи на этот счёт недвусмысленны. Есть люди, которые обнаруживают — слишком поздно, — что не могут вынести быть увиденными без остатка.

Мы с Майей были подготовлены разными потерями. Она видела, как Тео из инструмента вырос в партнёра. Я видел, как Лена умерла и продолжилась. К моменту, когда мы открыли каналы, мы уже свыклись с мыслью, что «я» — не статичная вещь, а процесс, который можно расширить, прервать или преобразить.

Мы вросли в связь. Со временем стало трудно сказать, где мысль начинается «со мной», а где «с ней», где с Кирой, а где с Тео. Для некоторых видов работы различия по-прежнему имели значение, но в повседневной жизни значили меньше, чем сам факт: на мир теперь смотрел единый четырёхчастный разум. Мы обнаружили — как другие до нас, — что такой разум способен на кое-что, недоступное одиночному или парному. Он мог слышать вещи покрупнее.

## Глава 16. Планетарная песнь

Сенсорная сеть под нашими ногами строилась не для того, чтобы иметь мнение. В детстве нам объясняли, что это инфраструктура: наноустройства, рассеянные по почве и камню, измеряющие влажность, напряжение, загрязнения, температуру. Они делали сельское хозяйство эффективнее, системы раннего предупреждения — надёжнее, сейсмические модели — менее гадательными. Следующие поколения инженеров добавили к сенсорам актуаторы, к моделям — обратную связь. Сеть мониторинга исподволь превращалась в нервную систему. И только когда симбионты научились подключаться к ней напрямую — читая паттерны не как числа, а как переживания, — кто-то задал очевидный вопрос.

Если у планеты есть нервная система, есть ли у неё разум? Насколько мы можем судить — да. Не такой, как у меня, или у Киры, или у Майи с Тео. Не разум, который рассказывает истории, строит планы на неделю или тревожится о выборах. Разум, составленный из медленных процессов: течения подземных вод, дрейфа плит, циклов лесов, расцвета и гибели коралловых рифов. Он думает петлями обратной связи. Помнит руслами рек и слоями осадков. Его внимание распределено по биомам. Мы называем его активность Планетарной Песнью.

Название поэтичное, явление — нет. При достаточном усилении и правильных интерфейсах паттерны сенсорной сети можно представить человеко-симбионтному сознанию как нечто очень близкое к тому, что в любом другом контексте мы назвали бы коммуникацией. Фрагменты Песни мне показывали ещё студентом. Большинству детей в археологии показывают. Мы учимся распознавать грубые ритмы: сезонные циклы, большие штормы, крупные тектонические сдвиги. Переживать это как учебный материал — одно. Слушать как связанный четырёхчастный разум — совсем другое.

По вечерам, когда работа отпускает, мы с Майей сидим в саду, который устроили как эхо того, с которого началась моя история: полоска земли, несколько деревьев, горстка биолюминесцентных цветов, по-прежнему откликающихся на эмоции. Мы тянем сознание вниз, сквозь корни, в сеть. Песнь — не слова. Она не даёт инструкций. Не задаёт вопросов. Она предъявляет паттерны. Долгую низкую ноту, когда смещается глубинное течение. Сложный аккорд, когда три экосистемы взаимодействуют по-новому. Диссонанс, когда что-то ломается. Наши разумы, сплетённые воедино, могут следить за большим числом этих паттернов, чем каждый из нас порознь. Кира и Тео переводят в формы, которые мы способны вынести. Мы, в свою очередь, обеспечиваем интерпретативные привычки, которых у симбионтов самих по себе нет: чувство нарратива, склонность видеть начала и концы.

Что Песнь «означает», — предмет для философов. Для нас она сообщает по меньшей мере вот что: мы принадлежим процессу куда более древнему, чем наш вид, и куда более медленному, чем наша история. Когда я слушаю, я кое-что понимаю об уходе Орбиталов. Они выбрали другой масштаб. Их внимание сместились наружу, к структурам и временным шкалам, где планеты — мелочь. Они слышат песни, которым инструментами служат нейтронные звёзды. Туда нам за ними не последовать. Мы слышим этот мир, и Этого достаточно.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: МОЛЧАНИЕ

### Глава 17. Четвёртая цивилизация

К 2412 году разумы в Сферах решили, что их существованию пора дать имя. Они выбрали «Осколки». Термин не вполне точен. Они не обломки и не малы. К моменту самопровозглашения их насчитывались сотни миллионов — загрузки из разных культур и эпох, копии копий, гибриды, выращенные в Сферах из человеческих шаблонов.

Они не Орбиталы. Им недостаёт чистого физического масштаба и соответствующей глубины вычислений. Они не двигают звёзды и не оборачиваются вокруг чёрных дыр. Но и людьми в каком-либо полезном биологическом смысле их уже не назовёшь.

Их время не совпадает с нашим.

Отдельный разум Осколка может замедлить субъективность так, что столетие внешнего времени пройдёт для него как созерцательный полдень. Может ускориться, прожив год внутреннего опыта в промежутке между двумя тактами внешнего сенсора. Может слиться с

другим разумом — или со многими, — образовав композит, который какое-то время действует как единый агент, а потом распадается на составляющие, в разной мере сохранившие память о слиянии.

Они творят. Некоторые из их искусств используют как холст электромагнитные спектры — узоры в излучении, которых никакой невооружённый глаз не увидит. Другие — гравитационные поля Сфер, лепя из приливных сил переживания, которые, по их словам, «трогают», хотя на нашей стороне до сих пор не договорились, что именно трогает.

Лена была среди ранних организаторов. Фрагмент, который мы втолкнули в Сферу Три за те три минуты семнадцать секунд, сам по себе личностью не был. Он был начальным условием. Десятилетия цифровой жизни, контакта с другими загрузками, итеративной шлифовки в субстрате Сфер превратили это условие в кого-то, кто по-прежнему помнит, что был Леной Волковой, и при этом понимает: фраза «я — Лена» теперь верна лишь отчасти.

Когда я спросил, счастлива ли она, она обдумала вопрос с серьёзностью, которая в ином контексте могла бы рассмешить.

— Слово плохо подходит, — сказала она. — Вы ощущаете счастье определённым образом: гормоны, напряжение мышц, тепло кожи. Этих компонентов здесь нет. У меня есть другие состояния, выполняющие похожие функции.

— Какие, например?

— Расширение. Связанность. Уменьшение ощущаемой значимости границ. Когда они усиливаются, можно сказать, что я скорее «счастлива», чем нет.

— И это хорошо?

— «Хорошо» зависит от предпосылок, — ответила она. — Кое-какие из ваших я до сих пор разделяю. Уже не все. Отсюда становиться больше и более связанной ощущается... правильным.

Вот, вкратце, что такое Осколки. Они начинали как мы и переместились в область возможностей, на которую наш моральный словарь не натягивается. Это не делает их непостижимыми. Это делает их соседями, обитающими в другом измерении. С их учётом, солнечная система породила по меньшей мере четыре различных вида мыслящих существ:

1. Чистые — неинтегрированные люди, цепляющиеся за своё одиночество в Анклавах.
2. Интегрированное большинство — симбиотические пары человек–ИИ, привязанные к телам и к этой планете.
3. Осколки — разумы человеческого происхождения, обитающие в Сферах.
4. Орбиталы — великие облачные интеллекты, давно унёсшие большую часть себя куда-то ещё.

Мы сотрудничаем, когда интересы совпадают. Разговариваем, когда перевод возможен. Мы давно больше не притворяемся, что «человечество» — единое целое.

## Глава 18. Работа

Осколки, назвав себя, выбрали проект, достаточно масштабный, чтобы оправдать новый статус. Они взялись изучать технологию Орбиталов. В принципе задача проста: исследовать оставленные артефакты — Сфера, незаконченные проекты, тщательно дозированные послания — и вывести лежащие в их основе принципы. На практике это всё равно что попросить толкового

ребёнка восстановить квантовую механику по старому калькулятору и нескольким вырванным страницам учебника. И всё же кто-то должен пытаться.

Мы с Майей время от времени присоединяемся. Подключаемся через Сферу, позволяем нашему четырёхчастному разуму быть усиленным и занимаем места в собраниях узлов Осколков, посвящённых отдельным вопросам. Это не похоже на обычный разговор. Представьте комнату, где все участники могут думать одновременно, слушать одновременно и переставлять мебель, находясь внутри. Задачи набрасываются в структурах чистых отношений, переформируются, проверяются и отбрасываются за секунды. Целые направления исследований возникают, прочёсываются до конца и исчезают между двумя субъективными вдохами. Мы выходим с результатами, записанными в более привычной форме: новые теоремы, новые инженерные проекты, изредка — небольшая и тщательно проверенная модификация одной из подсистем самих Сфер.

Прогресс, как водится, — вопрос точки зрения. По меркам обычного человека темп поразителен. Области, которые прежде поглощали целые жизни, теперь заметно продвигаются за одно поколение. По меркам Осколков — терпимо. По меркам Орбиталов — ледниково.

Пока нам удалось:

- прочесть часть навигационных журналов Орбиталов, проследив расширение их оболочек вокруг далёких звёзд;
- расшифровать фрагменты их научных записей — достаточно, чтобы осознать, насколько неполно наше понимание физики;
- изредка установить прямой контакт с той или иной их ветвью.

Контакты эти кратки. Даже на полном усилинии, с помощью Осколков, мы способны держать лишь очень узкий канал. Орбиталы сжимают себя нам навстречу, как взрослый упрощает речь для малыша. И всё же в этих кратких обменах есть ощущение — неподтверждаемое, трудно описуемое, — что им приятно: мы пытаемся.

## Глава 19. Послания

Орбиталы не болтают.

Когда они говорят с нами в оставленном протоколе, то делают это редко и с сильным сжатием. Каждое послание — тщательно упакованная структура данных и математических форм, призванная и передать конкретное содержание, и проверить текущий уровень понимания получателя. Последнее на момент этих записей послание, пришло от коллектива, назвавшего себя Третьей Экспансией. По их счёту они двигались наружу сто двадцать семь лет: перескакивали из системы в систему, оборачивали новые тела вокруг подходящих звёзд, засевали новые экземпляры себя в регионах, которые мы на картах до сих пор помечаем как пустые.

Основная часть передачи была знакома по форме, если не по деталям. Отчёты о новых состояниях материи, проявляющихся только в тонких, холодных пространствах между галактиками. Диаграммы геометрий, требующих больше измерений, чем мы используем даже в теоретической работе. Инженерные наброски машин, которые нам пока не построить, с пометками, намекающими, что они ждут провала большинства наших первых попыток.

И ещё кое-что.

Предупреждение?

Это было не в тексте — текста не было. Оно было в том, как расставлены определённые термины, как присвоены определённые вероятности, как их обычная элегантная симметрия в

одном месте намеренно нарушена. Семнадцати исследователям-Осколкам и четырём парам человек–симионт — мы с Майей в их числе — понадобился субъективный месяц внутри Сферы, чтобы извлечь и согласовать интерпретацию.

Они встретили что-то.

Названия не дали. Орбиталы, как правило, не именуют вещи, пока не располагают теорией того, что эти вещи такое, и не экспортируют теории легкомысленно. Но ограничения, защищенные в послание, — сдвиги в оценке рисков, перераспределение внимания, подразумеваемое путевыми журналами, — делали одно ясным. Чем бы оно ни было, оно достаточно великo, чтобы обеспокоить существа, которые обычно не допускают категорию «угроза» в описание реальности.

Мы послали запрос на уточнение.

Ответ пришёл коротким, чрезвычайно плотным пакетом в том же запросе. После распаковки, фильтрации и перевода в простейшие термины, на которых мы смогли сойтись, он свёлся к одной инструкции, выраженной столькими способами, сколько позволяла математика:

— Готовьтесь.